



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК **ВОЛГА** №1 2022

Литературно-художественный журнал

16+



Портрет Н. А. Некрасова, 1877. И. Н. Крамской

16+



XXI ВЕК

ВОЛГА

№ 1 2022

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России (Саратов)
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России (Саратов)
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
Е.Н. Манова – директор музея Н.Г. Чернышевского (Саратов)
А.Н. Тимофеев – член правления Союза писателей России,
председатель Совета молодых литераторов Союза
писателей России (Москва)

САРАТОВ
2022

№ 1 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Валерий ХАТЮШИН. **Дар любви** 3

ОТРАЖЕНИЯ

Василий КИЛЯКОВ. **Простая душа** 11

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЁДОРА СУХОВА

«Я родился на Волге...» 16

Фёдор СУХОВ. **Голубая улица России...** 20

СОВЕТ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

Эллина САВЧЕНКО. **Архангел в монохроме** 25

ПОЭТОГРАД

Геннадий РЯЗАНЦЕВ. **Заветное слово** 29

ОТРАЖЕНИЯ

Елена ОБУХОВА. **Я шла по улице и ждала чуда** 34

ПОЭТОГРАД

Николай АЛЕШКОВ. **Поленица** 45

ОТРАЖЕНИЯ

Алексей СОЛОНИЦЫН. **Слышишь, шумит дождь (Начало)** 51

СОВЕТ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

Ксения САВИНА. **Разгорячённое небо** 104

Игорь ГОЛУБЬ. **Город на Преголе** 108

КАМЕРА АБСУРДА

Дмитрий ВОРОНИН. **Поздняя месть** 112

ПОЭТОГРАД

Татьяна ЯРЫШКИНА. **Вечное прошлое** 118

Кселена ЛИТВИНОВА. **К солнцу** 124

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. НЕКРАСОВА

Александр ДЕМЧЕНКО. **«Певцу народных страданий»** 127

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Наталья ЛЕВАНИНА. **Сергей Потехин — поэт, отшельник, инопланетянин** 154

Людмила ЛИПАТОВА. **«Человек, прибавляющий света...»** 167

РЕЦЕНЗИИ

Игорь ШВЕДОВ. **Куда впадает жизнь** 173

Валентина ТОРОПОВА. **Улыбки судьбы и гримасы оракулов** 176

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Елена САПОГОВА. **«Детство, детство — радостей истоки...»** 181

СОБЫТИЕ

Победа заслуженная. Поздравляем! 190



**Валерий
ХАТЮШИН**

ДАР ЛЮБВИ

Одинокое облако в небе ночном,
одинокая рядом звезда...
Не жалеть ни о чём, не грустить ни о ком
я, увы, не умел никогда.

И жалел, и грустил, и любил, и желал...
Не хватало и слёз, и вина...
Столько сердца истратил и слов расплескал,
что теперь на душе – тишина.

Но, как прежде, как прежде, грустят обо мне
уходящие вдаль поезда,
и белёсое облако в тёмном окне,
и манящая эта звезда...

Август, август, зачем же так скоро?..
Ведь ещё не настала пора...
Сонной тенью немого укора
загустели твои вечера.

Август, август, озёрная свежесть,
дрожь листвы на опавших цветах...
Мы, мой друг, замечаем всё реже
прежний блеск в приземлённых глазах.

-
- Валерий Васильевич Хатюшин – поэт, прозаик, критик, публицист. Родился в 1948 году в г. Ногинске (Богородске) Московской области. Служил в ракетных войсках в Сибири. Работал на строительстве газопровода «Север – Центр». Первая книга стихотворений «Быть человеком на Земле» вышла в 1982 году. С 1986-го член Союза писателей СССР и России. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького. Стихи, рассказы и статьи публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», «Слово», «Аврора», «Дон», «Сибирь», «Подъём», «Аргмак», «Родная Ладога», «Берега», «Новая Немига литературная», в альманахе «Академия поэзии». Автор шеститомного собрания сочинений. Лауреат литературных премий им. Сергея Есенина, Марины Цветаевой и Афанасия Фета, международных литературных премий им. М. А. Шолохова и А. П. Платонова. Награждён Почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации. Более тридцати лет жизни Валерий Хатюшин отдал работе в журнале «Молодая гвардия», из которых последние двенадцать лет является главным редактором этого русского национально-патриотического издания. Секретарь Союза писателей России.

То ль с тобой мы своё отлетали,
хоть в душевных порывах – легки,
то ль полей поседевшие дали
слишком стали для нас далеки...

И не манит спокойного взора
золотая заката игра...
Август, август, зачем же так скоро?..
Ведь ещё не подходит пора...

ВОДА БАЙКАЛА

Я по нему опять тоскую...
Как долго я спешил туда!..
Была подобна поцелую
Байкала чистая вода.

Вошли в меня сердечной новью
и Ангара, и Усть-Уда...
Как свет небесный Подмосковья –
Байкала синяя вода.

Но если в воздухе кружилось
ненастье хмурое, тогда
в стальном дыханье шевелилась
Байкала серая вода.

Теперь в сибирской ностальгии
душа пребудет навсегда.
Скрывает столько тайн России
Байкала чёрная вода...

Ничего, что глубокая осень,
ничего, что опала листва...
Дождевая закатная просинь
мне чуть слышные шепчет слова:

«Не взыскуй, не кручинься, не сетуй!..
Столько раз это было со мной!..
Гроздь красные яркой приметой
мне бессонный сулят непокой.

«Не зови, не жалеи, не прощайся!..
В серых тучах померк небосвод.
Мимо с шумом, как поезд, промчался
леденящий семнадцатый год.

Нескончаемый лиственный ветер.
Зябко в парке от лиственных слёз.
Под ногами в искусственном свете
истлевает убранство берёз.

Дуб качает седой головою,
синь закатную мглой занесло...
Ничего, что не будет покою,
ничего, что иссякло тепло...

ПЕРЕКЛИЧКА

Анатолию Аврутину

Подлый мир отказался от наших святынь –
в этом мире другие святыни.
И куда ты свой взгляд беспокойный ни кинь –
всем Россия чужая отныне.

Мир блефует в придуманных снах и во лжи,
в однополой убийственной страсти...
...Где-то детство моё в колосющейся ржи
притаилось, как в маленьком счастье,

засиделось у речки, уснуло в лесу,
закружилось в цветах на лужайке...
Я за пазухой детство, как птаху, несу,
чтоб о нём рассказать без утайки.

Чтоб светилось оно в этих строчках простых,
согревая глаза дорогие,
чтобы в детях, рождённых при песнях иных,
билося вечное сердце России.

...Я под пенье сверчка на печи засыпал
под рассказы о плотнике-деде...
Нам динамик из чёрной тарелки вещал
о вожде, о труде, о Победе...

Мы росли на руинах великой войны,
со страной возвышаясь и каясь,
нас безродные пичкали чувством вины,
от святынь и побед отрекаясь.

Ныне в наших домах тех динамиков нет.
Мы умней и трезвей стали ныне.
Нас в искусственный свет заманил Интернет...
Но в душе – неизменны святыни.

Перед Распятьем я Бога просил:
«Господи, дай мне успеть,
дай мне набраться немислимых сил –
духом врагов одолеть.
Господи благостный, сколько же их,
подлых, сплочённых во зле,

недругов этих безумных моих
здесь, на родимой земле!..»
Тихо ответил Он мне: «Отойди.
Кайся и плачь во Христе.
Раньше Меня никого не суди.
Я ради всех на Кресте».

В ПЕЩЕРАХ

Печоры псковские, пещеры...
Дрожащий свет свечей в руках...
Мерцали своды, словно сферы
небесной тверди в облаках.

С тоской душевного похмелья
здесь я, стогрешный, пребывал.
Здесь, в лабиринтах подземелья,
монах нам тайны открывал.

В подземной мгле витал над нами
нетленных старцев глас и слух...
Вливался тёплыми волнами
мне в сердце странный сильный дух...

Здесь, как Руси живые стражи,
за веком век – во тьме святой –
лежат молитвенники наши
под монастырскою горой.

Бессмертный дар их мощной веры
из века в век спасает нас.
...Мерцали своды, словно сферы
живых небес, в тот светлый час.

Я слышал ангельское пенье,
огнём сердечным осиян.
И нам вослед духовным зреньем
смотрел Крестьянкин Иоанн...

ДАР ЛЮБВИ

В минуты слабости душевной
в себе глушил я резкий жест.
Перед толпой нещадно-гневной
Он за меня всходил на Крест.

Когда в заклятье поруганья,
жестокий суд людской кляня,
я уходил от наказания –
Он осуждался за меня.

Не отвести беду руками.
Когда в меня под смех и вой
со всех сторон летели камни,
Он закрывал меня собой.

Я слово правды не нарушу,
стремленью верен одному –
свою ещё живую душу
как дар любви вручить Ему.

Э. М.

Ты пишешь мне: «Всегда твоя» –
привычно и неосторожно.
В тисках земного бытия
мы знаем: это невозможно.

Мы знаем, в бренности земной,
здесь, где бессмертно только Слово,
ты не моя, и я не твой,
как ни хотели б мы иного.

Судьбу не изменить уже.
Но скоро, слившись, точно реки,
одна душа в другой душе
поймут без слов: теперь навеки...

ТО ЛИ ГОДЫ, ТО ЛИ ДАТЫ...

То ли годы, то ли даты...
Всё смешалось и ушло...
Помню, я любил когда-то
непокорное тепло
глаз печальных, глаз глубоких
(их не в силах скрыть лета),
одиноких, чернооких –
в днях далёких, как мечта...

Всё смешалось: годы, даты –
тридцать, сорок, пятьдесят...
Эти вехи, как солдаты,
на своём посту стоят.
И мою волнуют память,
знают всё, что я забыл.
Мы легко теряли сами
тех, кто слишком нас любил.

То ли зрелость, то ли старость...
Всплески счастья, слёз, обид...
Что-то важное, хоть малость,

сердце всё же сохранит.
Годы, даты – всё смешалось.
Ясных дней душа не ждёт.
Но осталось в ней, осталось
то, что в вечность с ней уйдёт.

ТРЕТИЙ СНЕГ

Первый снег – словно юность,
он растает как дым.
Вспомню в зимнюю лунность
то, что был молодым...
Так в отставшем вагоне
свет чуть брезжит во мгле...
Первый снег не догонит
никого на земле.

Снег второй – словно годы,
то пуржит, то парит...
От ненастной погоды
он виски серебрит.
Снег второй, не стихая,
будет долго мести,
день за днём засыпая
все следы и пути.

Третий снег безобманно
сыщет нас всё равно,
беспричинно, неожиданно
постучится в окно.
К нам напросится в гости,
мол, пришли холода...
...У креста на погосте
ляжет он навсегда.

МОЯ ЗВЕЗДА

Сияла мне в снегах Сибири
и в жёстких северных снегах,
светила мне с небесной шири
звезда на дальних берегах...

И где б моя ни шла дорога,
вела меня звезда одна –
неугасима, ясноока,
при всех ненастьях мне видна.

Я шёл за ней не понапрасну...
В удушье нервной маеты
не позволяла сердцу гаснуть
звезда любви, звезда мечты...

Пусть жизнь глаза мои остудит,
пусть суждено стихам истлеть...
Но здесь, когда меня не будет,
она останется гореть.

И в мире горнем, может случиться,
всё так же будет мне светить...
Лишь только с ней мне не расстаться.
Друг другу нам – не изменить.

Тоске любви, мечте безумной
останусь верен навсегда.
В полях ночных, во мгле безлунной
сияй, гори моя звезда...

МАТЬ

Жизнь прожила, не крещена,
к труду причастна с малолетства.
По детству пронеслась война
и, растоптав, стубила детство.

Скорбей хлебнувшая сполна,
познала все земные грозы.
И без крещенья – прощена.
Её крещеньем были слёзы.

ТРИ ДНЯ

Как часто высший промысел сокрыт
на много лет для нашего сознания...
На Чёрной речке Пушкин не убит.
Бог дал ему три дня для покаянья.

Три долгих дня дарованы ему –
спасительных, мучительно-высоких...
И чтоб душа не сорвалась во тьму –
духовнику открыл он своему
и в боли сжёг отвратные уму
грехи свои за все земные сроки.

Чтоб мог исполнить он завет царя:
«Прошу, мой друг, умри как христианин»,
когда ещё пытались лекаря
утишить боль его на смертной грани.

Счастливый жребий, нет, его не спас.
Не спас и перстень Лизы Воронцовой...
Ему спасеньем стал пустынный глас:
«Моей исполнись волею суровой!»

В немой тоске собрав остаток сил,
он внял, сражѣнный, неземному гласу.
И в мыслях мечь таившему Данзасу
сказал: «Не надо мстить. Я всех простил».

И вот уже из близких никого
не узнавал он, что-то где-то слыша...
И на словах последних: «Выше, выше...» –
душа чиста оставила его...

Залетают бабочки в окно.
Что им надо в доме у меня?
Многое постигнуть нам дано,
лишь не это – в ярком свете дня.

Может быть, в ответ на общий стресс
это – лета нежная игра.
Или, может, ангелы с небес
через них сказать хотят: пора...

Всѣ уже сбилось в пути моѣм.
И случится то, что суждено.
И с какой-то вестью день за днѣм
залетают бабочки в окно...

СВЕТ ВО ТЬМЕ

Стоит хранимый Богом Дом
времен на переломе...
Чем меньше света за окном,
тем больше света в Доме.

Где холодней ночная мгла,
там ласка звѣзд теплее...
Чем в подлом мире больше зла,
тем мы добром сильнее.

А где раздор, там и разор –
бездомная дорога...
Но чем бесовский громче ор,
тем в сердце больше Бога.

И мы очнѣмся от своей
душевной летаргии.
Чем тьма всемирная плотней,
тем ярче свет России.



**Василий
КИЛЯКОВ**

ПРОСТАЯ ДУША

Удивительное было лето ХХХХ года: Москву и Подмоскowie залила дождики, в лесах стояла вода, и до самой осени не было грибов, даже опята появились только в конце августа.

– Поедем к бабушке, – сказал я отцу, – наверняка грибы пошли...

И мы поехали на свою малую родину, в самую что ни на есть глухую провинцию. От станции Сасово ехали на грязном «пазике», на дороге стояли лужи. Слева и справа – непроходимая рожь, уже почерневшая от дождей, и такая густая, такая тучная, что даже местные пассажиры, рабочие из бригады механизаторов, говорили: «Хлеб ныне густ. Колос к колосу, даже и уж не проползёт... Да вот только дожди залили, погибнет, похоже, и хлеб. И картошку залило... Грибов – тьма, да все белые...»

Автобус с шаткими, ободранными сиденьями гремел обшивкой, часто останавливался, объезжал ямы, полные воды, мелкие лужи. Не доехав километра до нашей остановки, шофёр объявил:

– Слезайте, дальше не поеду, дорогу залило...

Мы выбрались и пошли пеши просёлочной дорогой. Как только свернули с большака, идти в ботинках стало невозможно, мы разулись и шли босиком. За плечами рюкзаки, в руках обувь. Сначала шли кукурузным полем, потом заглохшим в разнотравье свекловичником, сплошь в мокрых бороздах, в лебеде, в васильках с повиликой.

– Свёкла пропала, – с грустью в голосе проговорил отец, – не пропололи вовремя.

А всего идти-то было километра три с небольшим. Но такой липкий был чернозём, так разъезжены были тракторные колеи, что пришлось тянуться краем поля, а потом и полем, напрямки по бездорожью.

Когда дошли до ржаного, отец остановился, закурил и долго смотрел на скошенные для скотины снопы в серой болотной жиже, на сорванные колоски. Тучные зёрна уже поспели. Постоял, переживая, что-то вспомнил, изрёк нечто о поре своей молодости: «Вот так. Разрешить пять колосков – полполя подберут». И добавил:

● Василий Васильевич Кияков родился в 1960 году в Кирове. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Юность», «Октябрь», «Литературная учёба», «Подъём», в газете «Литературная Россия». Член Союза писателей России. Живёт в городе Электросталь Московской области.

– Эх, и хлеба были бы, если б не дождики... Смотри-ка, такую рожь я не видел в наших местах. Какой-то новый сорт. Начали уже убирать, верно, да помешали дожди.

Кое-где уже стояли почерневшие копны. Шёл сначала мелкий, а потом мало-мало разошедшийся в ливень дождь, как серая сетка, всё застил вокруг.

До деревеньки, где жила бабушка, было уже близко, а мы шли по колону в траве, без дороги, без разбору, по клеверу второго укоса. Был девятый час, а казалось, что всё ещё раннее утро; проливной дождь хлестал не переставая, и за какие-то полчаса на нас нитки сухой не осталось.

– Ой, приехали! – стукая щеколдой и отворяя дверь, обрадовалась бабушка. – Снимайте с себя всё, я тут вам обутку найду, сухую одежонку... Господи, и что за напасть такая: дожди и дожди... И ни проехать ни пройти. Хлеб неделю не везут, а пеш не доберёшься... А вы хлебца-то не привезли из Москвы, не догадались?

– А мы думали... – сказал отец и начал хлебать щи без хлеба.

Бабка полезла на печку, вытащила мешочек с сухарями и, высыпая горстями в тарелку, рассказывала о местных порядках, а точнее – беспорядках, что начальство меняется как рукавицы, хлеба небывалые, а всё прееет и гниёт.

– Как раз к грибам приехали, – говорила бабка, со стуком меняя ухват. – Тут приезжие гости грибов обтаскались, носят кошёлками бельевыми, да все дубовые...

– Белые есть? – переспросил я.

– Говорю же – дубовые, по-вашему – белые. Никакие они не белые, а скорее коричневые, поджаристые, как булки из печи...

Часа через два перестал лить дождь, выглянуло солнце, ослепительно заиграли влагой травы, заблестел солнечными бликами потолок в избе от огромной лужи под окнами; радостно зачирикали на крыше воробьи, и в доме не сиделось.

– А пойдём-ка за грибами, – сказал я отцу, непрерывно кутившему у окна, смотревшему на мокрую улицу.

– Ну-у, за грибами? Там теперь и в сапогах не пройдёшь поди-ка, – сказал он с неуверенностью, – вот подсохнет, обдует...

И всё же стали собираться. Старенькие рубахи, штаны, тапочки, ботинки с косо сбитыми каблуками – всё это вытаскивала бабка из чуланчика.

– Ну-ка, примеряйте!

– Эх, сапоги не привезли... И как это я не подумал про сапоги? – то и дело сокрушался отец, вдавливая ноги в обрезки жёстких кирзовых сапог с разбитыми каблуками, – и про хлеб... тово... не вспомнили... Оплошали...

– А вы лапти наденьте, – посоветовала бабушка. – Я тут у Прокофия купила дайча...

Мы засмеялись, а бабка обиделась:

– Ну-к ва-ас, не графья... У меня вон печь простыла, пока я за вами ухлёстывала. Как раньше-то – косили в болотах и убিরали в полях хлеба, ходили в сельмаг за семь-восемь вёрст, все в лапотцах, в них, родимых... И легко, и ноге любо.

– А что, – согласился вдруг отец, – милое дело – лапти. Теперь и в сапогах не вылезешь из лесу сухим: места тут – колдобины, канавы да болота.

– Какие неаккуратные... – проговорил я, рассматривая лапти.

Мотая на ноги портянки, отец молчал, он знал толк в лаптях. Когда-то ходил в школу в этой диковинной, музейной обуви, плёл их в детстве.

– Неаккуратные – потому из крупных лык, а вот если бы лыки помельче – другое дело, – молвил он, отдуваясь.

– Да ему без малого девяносто, Прокофию-то, видит плохо. Да он и не хотел плести, это я ему в начале лета лыки заготовила, упрасивала, самогону литр выпоила да ещё заплатила тыщшу рублей на хлеб-соль, вот вам... А не хотите – как хотите...

Лапти обували долго, хилые оборы рвались. Бабушка смеялась. И как только снаряжение было готово, большие кошёлки повесили мы на плечи, а она взяла суковатый батожок и вышла нас провожать, как бы в какой-нибудь дальний путь.

Шли напрямки по густой, зелёной, хватавшей за ноги траве, заброшенными огородами, мимо развалившихся изб с забитыми тёсом окнами, покосившимися дверями, банёшек с голыми стропилами... Не успели добраться до опушки леса, уже были хоть выжми от росы, но идти было легко, из лаптей сочилась вода.

Солнце светило ярко и близко, и вода в провалах и лесных низинах согрелась. Воздух стал тёплым от влаги. Ослепительно блестели на опушках мелколесья цветы и травы, вспархивали тетерева, трещали сороки на высоких осинах. По выгону рассыпалось стадо нетелей – молодых коров, за ними ходко с собаками тянулись пастухи верхом на конях.

На лесной дороге встретились нам две молодые женщины и посмотрели на нас как на призраки, пришедшие из давних времён, на наши лапти и кошёлки. Временами в лесу слышались голоса – возвращались грибники с корзинами грибов.

Места глухие, медвежий угол, за десятки километров от больших дорог грибы собирали городские гости. Грибов было так много, как говорят, «хоть косой коси», но, видно, от проливных дождей и непросыхающей влаги в «вымочках» почти все, даже молодые белые грибы побили слизни, приходилось долго выбирать самые маленькие, молодые, иногда растущие по шляпку в воде. Целыми куртинами попадались обабки, не семьями, а, я бы сказал, стаями.

– А ведь и верно говорила бабка, что в лаптях хорошо, – напомнил я отцу, продираясь через густой ежевичник, до крови кусавший руки, терновник, непроходимо разросшийся на краю оврага. – В сапогах всё равно были бы теперь мокрые ноги, да ещё и с мозолями... Да и времена наступили теперь такие, что обувь надо беречь.

– На лапти переходим, – пошутил отец. – Откроем кооператив по производству лаптей... «Отец, сын и К°».

Солнце так разогрело молодой смешанный лес, куртинки, лесные тропинки и коровьи прогоны, что от испарений, аромата цветов и трав, густо разросшихся на опушках, было трудно дышать. Тонко курилась дорога на опушке леса, источая влагу.

Мы возвращались домой, когда услышали женские голоса. Женщины сидели возле дороги, отдыхали, закусывали. Кошёлки, полные грибов, покрыли сверху луговой мятой. Яичная скорлупа, кожура от картошки, сваренной «в мундире» – всё аккуратно собрано в кучу на обрывке газеты.

– День добрый, – сказали мы, проходя мимо.

Они ответили на разные голоса, и одна из них, та, что постарше, проговорила:

– Теперь лапти днём с огнём не сыщешь, хоть сторона наша и лапотная. Мне бы сплели, я заплачу...

– И мне, – проговорила белобрысая молодуха с крутой грудью, румяная и с крепкими локтями, и звонко засмеялась. – И мне, только побыстрее, а то все ноги в мозлах...

Возле корзин сушились носки, резиновые сапоги; женщины пили из фляжки компот вкруговую; они жили в соседней деревне, а мы их не знали.

– А вы чьего же двора будете? – спросила та, что всех старше.

Мы назвались. Она, подумав, проговорила: «Знаю вашу бабуку, а вас не знаю».

Верхушки осин весело трепетали листьями, полуденное солнце нестерпимо жгло. Мы шли без дороги сначала мелколесьем, а потом свернули на полевою торную дорогу, раздавленную тракторами вдрызг. Подсолнухи в цвету приветливо полыхали золотыми головками, волнами переливалось это удивительное жёлтое море, сквозившее ослепительными лужами в низинах.

Показалась деревня, точнее, то, что осталось от деревни: высокие старые тополя, вязы, разорвавшиеся повдоль от собственной мощи, разваливающиеся избы, заброшенные подворья и заглохшие в крапиве, задичавшие сады. Мелколесье подступало к избам, как бы шло в наступление, угрожая огородам и садам и всей деревеньке заполнить, забить чапыжником, стереть с лица земли.

– А когда-то выкашивали все куртинки лесные, трынки не оставляли у канав, – говорил отец, с грустью поглядывая на огороды, сплошь заросшие травой, желтеющей метликом. – Лет через десять всё зарастёт, как будто и не жили здесь... А какие сады когда-то цвели тут! У самой деревеньки были колхозные огороды с капустой, огурцами. За сноп цветочника и травы у усадьбы – за топоры хватались. Сколько корма на неё надо. А где взять...

Молодняк, нетели, стояли и лежали в загоне, огороженном жердями. Утопая в навозной жиже, скотина жалась к углам, где посуше, а чуть поодаль, под навесом из грубой ткани спали два пастуха, тотчас видно, что мертвецки пьяные; хрустели травой две лошади, брехал серый кобель, а пастухи так и не проснулись, спали вповалку как убитые, навзничь. Открытые дыры ртов были страшны, веки точили мухи. Возле – пузырьки одеколона с пляшущей красавицей, и на мятой газете с просыпанной махоркой кнут и скорлупа от яиц.

Напротив окон бабушки стоял хороший ещё дом под жостью, с заколоченными окнами и сломанным водоотводом. Пушкой в небо торчала матица скотного двора, частокол упал и гнил в густой траве. И ни единой души кругом, как будто все вымерли. Как будто нейтронная бомба взорвалась здесь, убив всё живое и опалив мёртвое.

– Земля не терпит предательства, – с грустью в голосе сказал отец, когда мы проходили мимо заброшенного огорода и задичавшего сада.

Он остановился.

– Какого предательства? – не понял я.

– Все дома, гнёзда свои бросили, убежали, кто куда сумел, а поговорить с ровесниками – так никто настоящую жизнь и не устроил, не нашли счастья в городах... Если бы не задавили налогами, а ещё раньше – не растолкали самых толковых мужиков по «котлованам», каждый бы нашёл здесь своё счастье.

Да, оскудение, запустение и оскудение...

Бабушка встретила нас на крыльчке. Лапти наши расплзлись и промокли. На ступенях крыльца стояли от ног лужи.

– Ой-ой, грибы-то какие хорошие! – дивилась бабка, перебирая в корзинах. – Да все дубо-овые, да какие ядрёные, свежие, поджаристые, звонкие как шшелчок... Да это вы где же набрали-то, а я хожу-хожу, карга старая...

Я смотрел на неё, на отца, и почему-то щемило сердце от жалости к ним.

– Знаешь, – неожиданно сказал отец, – я иногда думаю, почему человек так ненавидит себе подобных? Полтора миллиарда людей на Земле голодают. Умирают от голода. А в Джорджии, в США, некто миллиардер за огромные деньги выставил «скрижали» из огромных гранитных плит. «Памятник смерти». На них запланировано сократить население более чем в двенадцать раз. Планы – злее фашистских. Так и жди, или чуму напустят, или нейтронную бомбу взорвут, или что ещё...

Бабушка по-своему поняла. Она сказала:

– Живите, живите да радуйтесь. А то скоро свет-конец. И в Писании про то говорится. Да вы ещё сами себе отпуск возьмите и погуляете ещё. По мобильному-то своему позвоните, остаёмся, мол, ещё у бабули. И побудем у неё. У Прокофия и ружьецо есть. Как тетерки-то по хлебу летают, только фы-рр, фырр, фырр...

Так она долго сидела и мыла наши грибы, с улыбкой тихой радости на устах, и приговаривала: «Живите радостно, хорошо живите, а то скоро свет-конец...»

– Спешите жить! Так, Полина Тимофеевна? – улыбнулся отец словам тёщи и стал закуривать влажную сигарету. Зачем-то глубокомысленно и тихо проговаривая: – Спешите... Да-а...

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЁДОРА СУХОВА



«Я РОДИЛСЯ НА ВОЛГЕ...»



Клавдия Ермолаевна и Фёдор Григорьевич Суховы с первенцем Алёшенькой. Энгельс, 1953 год, июль

Фёдор Григорьевич Сухов родился в селе Красный Осёлок Лысковского уезда Нижегородской губернии 14 марта 1922 года. С Волгой связана почти вся жизнь поэта, только несколько военных лет, когда он через всю страну ехал в Ташкентское пехотное училище, а через полтора года обратно на Воронежский фронт, три года на передовой старшим лейтенантом, командиром взвода противотанковых ружей прошёл до Восточной Пруссии, да с 1949-го по 1954 год

учёба в Литинституте разлучали его с родной рекой. После окончания учёбы отправился на работу в Волгоград, где прожил почти 20 лет, и возвратился в 1972 году на родину, в Красный Осёлок, в Нижний Новгород. Место упокоения Ф. Сухова в 1992 году тоже на Волге, на старообрядческом кладбище села Красный Осёлок в могиле бабушки и дедушки.

Жена поэта, Клавдия Ермолаевна (1926–2004), мать пятерых его детей, труженица тыла, награждённая медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны», тоже была с Волги, из Энгельса (Покровска). Сухов Фёдор Григорьевич жил у родителей жены летом, когда несколько раз приезжал из Москвы на каникулы. В Саратове у поэта было много друзей, он часто печатался в журнале «Волга», который давал ему возможность печатать то, что опасались опубликовать столичные журналы. Первые песни на его стихи были написаны тоже на Волге – братом Клавдии Ермолаевны, Михаилом Ермолаевичем Сусловым (1939 г.р.), подполковником, ветераном Байконура, влюблённым в стихи поэта с юности. Брат и сестра многое сделали для того, чтобы в Саратове и Энгельсе не забыли поэзию Фёдора Сухова. Устраивали литературно-музыкальные вечера, писали и публиковали свои воспоминания о поэте. Предлагаю читателям «Волги» к столетнему юбилею стихи Фёдора Сухова

о Волге, а также привожу отрывок из воспоминаний вдовы поэта Ф. Сухова, Клавдии Ермолаевны, и небольшую заметку поэта, писателя Нины Калашниковой о последней встрече с поэзией Ф. Сухова в Центральной городской библиотеке им. М. Горького города Энгельса 12 августа 2021 года.

Е. Ф. Сухова,
дочь поэта

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВДОВЫ ФЁДОРА СУХОВА, КЛАВДИИ ЕРМОЛАЕВНЫ, О ЗНАКОМСТВЕ С ПОЭТОМ

Я познакомилась с Фёдором Суховым в 1950 году в Подмосковье. Он тогда учился в Литинституте, заканчивал первый курс. Это было в середине мая, я работала медсестрой в детском противотуберкулёзном санатории, расположенном в бывшей усадьбе Самарина в Баковке. Недалеко от санатория был городок писателей – Переделкино. Там на дачах жили писатели А. Фадеев, К. Симонов, Б. Пастернак, К. Чуковский, С. Маршак и другие. Студенты Литинститута жили на дачах умерших писателей. Фёдор Григорьевич жил на даче скончавшегося драматурга Тренёва.

После войны прошло всего лишь пять лет. Фёдор часто вспоминал, как он воевал, рассказывал мне о фронте, о своих товарищах. Он хорошо помнил всех, называл их по именам и фамилиям. Фёдор был худенький и очень застенчиво улыбался: у него на верхней челюсти была железная коронка, я думала, что зуб выпал, но он мне рассказал, что лейтенант Цигалко вышиб ему зуб прикладом автомата. Их часть не дошла до Берлина, конец войны встретили в Ростове, Фёдора, как знающего немецкий язык, назначили комендантом. Однажды офицеры в их части выпили и подрались, Фёдору Сухову пришлось их разнимать, вот его и ударил в лицо дерущийся лейтенант.

Вообще Фёдор Григорьевич был человеком очень миролюбивым. Фёдор упорно учился, был на хорошем счету у преподавателей и в общежитии. Никогда я не слыхала, чтобы он кого-то осуждал или плохо о ком-то отзывался. В институте Фёдор занимался очень серьёзно и настойчиво. Ему да и всем поэтам-фронтовикам надо было многое наверстать, прочитать то, что не успели прочитать за войну. Но не всё ему нравилось в Литинституте. Не все преподаватели хорошо там учили. Фёдор иногда говорил о некоторых – «фарисеи». Хвалил особенно одного преподавателя – профессора А. Реформатского. Профессору нравилась речь поэта, его словарный запас. Узнав, что он из Нижегородской губернии, профессор приезжал в село Красный Осёлок, беседовал с его матерью, Марией Ивановной. А она была особенная мастерица поговорить (Царствие ей Небесное).

Перед 1951 годом с Фёдором и поэтом Виктором Авдеевым произошла такая история: Виктор с Фёдором выпили под праздник и решили сходить к девушкам-медсёстрам в общежитие, стали стучаться. Девушки не пустили их. Мимо проходили деревенские ребята. Слово за слово, и произошёл между ним и ребятами крупный разговор. Виктор не сдержался и ударил кого-то из парней. Ребята эти были из деревни Измалково и моложе года на 3–4 офицеров, Виктора и Фёдора. Один из них выдернул кол из забора и замахнулся на Виктора, тот успел увернуться, но не удержался и упал. На помощь ему кинулся Фёдор, парень второй раз замахнулся и ударил

по голове Фёдора, очень сильно разбил ему голову. Виктор успел в это время подняться и опять кинулся на парней с кулаками. Но Фёдор удержал его, сказав: «Оставь их, Виктор!» Поддерживая друг друга, они ушли к себе в общежитие, их отправили в амбулаторию, там Фёдору перевязали голову и дали освобождение от занятий, он несколько дней отлёживался в общежитии, я его навещала. Прошёл слух по городку писателей, что деревенские ребята побили студентов Литинститута. К Фёдору приходил милиционер для разбирательства, хотел завести на ребят дело. Но Фёдор сказал, что они с Виктором сами виноваты, не нужно ребят наказывать.

Виктор, к сожалению, продолжал выпивать, пропускал занятия, и его вскоре отчислили из Литинститута. Дальнейшая его судьба сложилась трагично. Он был талантлив, но горяч и несдержан. Когда мы уже жили в Сталинграде, пришло известие из Горького, что Виктор Авдеев умер от инфаркта, от разрыва сердца, как тогда говорили. Фёдор очень горевал о его ранней смерти и посвятил другу стихотворение – «Памяти друга Виктора Авдеева».

Фёдор Григорьевич всегда говорил, что все его друзья-товарищи были хорошими, он так и говорил про друзей: «он очень хороший человек». Друзья у него были и из других стран: из Болгарии, Чехословакии, Польши, Молдавии, Украины, Осетии. Лучшим другом был болгарин Димитрий Методиев, он был особенно дружен с ним. Уезжая на родину, болгарин подарил Фёдору на память свою меховую куртку. Переписывались они вплоть до семидесятых годов.

Со всеми институтскими друзьями Фёдор сохранил отношения на всю жизнь. Многие помогали ему издаваться в Москве – Владимир Семакин, Михаил Шевченко и другие, кто смог получить работу в московских издательствах. Фёдор, несмотря на то, что единственный на курсе с отличием окончил Литинститут, не смог устроиться на работу даже в Нижнем, в Красном Осёлке для него работы, конечно же, не было. В Саратове его не приняли никуда без прописки, так как не было жилья, и пришлось ему, мне и уже нашим двум детям, Леночке и Алёше, уехать в Сталинград, где Фёдору и нам дали комнату в коммунальной квартире при заводе «Баррикады» в рабочем посёлке, а также работу в газете «Сталинградская правда».

К. Е. Суслова,
вдова поэта

95 лет исполнилось бы Клавдии Ермолаевне Суховой (урождённой Сусловой) – жене, спутнику жизни и верному другу замечательного советского поэта-фронтовика Фёдора Григорьевича Сухова. Фёдор Григорьевич Сухов – русский поэт, писатель, член Союза писателей СССР с 1957 года, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны, медали «За отвагу», лауреат премии им А. Фадеева за лучшее поэтическое произведение о Великой Отечественной войне к 25-летию Победы.

И к святой и трагической дате, 80-летию начала Великой Отечественной войны, и 95-летию со дня рождения мамы в наш город приехала дочь поэта, наследница и хранительница его архива, доцент, кандидат филологических наук Елена Фёдоровна Сухова. Мне так повезло: я была приглашена на встречу покровчан с дочерью знаменитого поэта. Пандемия ограничивает

наши возможности, но я представляю, сколько было бы желающих принять участие в этом вечере. Лично я получила огромное наслаждение, ещё раз соприкоснувшись с творчеством Фёдора Сухова.

Елена Фёдоровна Сухова хранит архив отца и постепенно издаёт книгу за книгой его прекрасных произведений. Вот и на этот раз наша Центральная городская библиотека получила в подарок от дочери поэта две новые книги его прозы. Я сама – горячая поклонница творчества Фёдора Сухова. Редко, но бывает, что прочитанные стихи и образы, созданные поэтом, хранятся в памяти годами и оставляют след в душе навсегда.

С начала войны прошло 80 лет. И люди, прошедшие это страшное испытание, – в наших сердцах, в нашей памяти. Они ценой своих жизней защищали Отечество. И такие встречи – это бесценный капитал для нас, покровчан, современников, любителей прекрасной поэзии замечательного автора Фёдора Григорьевича Сухова.

**Нина Калашникова,
поэт, писатель**

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ



**Фёдор
СУХОВ**

ГОЛУБАЯ УЛИЦА РОССИИ...

ДЕТСТВО

Я родился на Волге. Бежали года.
Рос неробким, не прятался матери за спину.
А река, красотой несказанной горда,
Всё несла, всё несла берега свои к Каспию.

По весне разливалась, да так широко,
Затопляла низинные наши окрестности.
Я садился на лодку и плыл далеко,
Как по синей ступенчатой лестнице.

А вместе со мною сидели друзья –
Та команда, что в сад то и дело залазила;
Выплываем на стрежень, и я – уж не я:
Кровь во мне атамана всеильного Разина.

Подпоясавшись лыком, отважен и горд,
На носу восседаю спокойно, уверенно,
И девчонку одну чуть не бросил за борт –
Разрыдалась... а плакать ей было не велено.

Чтоб назад повернуть, я сажусь за весло
И гребу, не заметив в пылу увлечения,
Что как пёрышко лодку мою понесло,
Да всё дальше и дальше, вниз по течению.

Ох, ты мать, моя мать! Дом родной не видать,
И стал день нам темнее, коварнее полночи,
И пришлось самому мне сигнал подавать
О скорой, немедленной помощи.

Кто-то выплыл на лёгком как тень ботнике
И повёл нас по пенной клокочущей набели,
А уж мать – я заметил – с верёвкой в руке
Дожидалась, когда я пожалую на берег.

Вот и берег. «Ах, ты озорник!» – И пошло...
И пошло... Я дрожал как листочек осиновый.
А девчонке, наверное, было смешно,
Как за уши вели атамана всеильного.

Голубая улица России,
Улица широкая моя,
Не твоей ли глубине и сини
Синие завидуют моря.

От Валдая вплоть до Волгограда,
До надёжной пристани моей,
Вся-то ты — как солнечная радость,
Как объятья наших матерей.

Всякий раз, как только свечереет,
Как звезда зажжётся о звезду,
Запасусь я веточкой сирени
И к тебе я на берег приду.

Ласковым захлёбываясь ветром,
Встану на скрипучие мостки,
Проищу до самого рассвета
Трепетного счастья лепестки.

Не найду — не потемнею взглядом,
Не вздохну, как раньше, тяжело,
Буду думать: счастье где-то рядом,
Да оно ещё не рассвело.

Гуляю по Волге, плыву к Василию,
К Суре полегонечку правлю,
Раздольным пейзажем глаза веселю,
Хвалу воздаю Ярославлю!

В зелёную заводь, в зелёный камыш
Уходит утиная стая.
И молния — как неумная мысль —
Играет, слепяще блистая.

«Дай парусу полную волю!» — вопит,
Поёт набегающий ветер.
А Волга вскипает, а Волга кипит,
В зелёном купается лете.

Я полную волю даю парусам,
Поэзии — полную волю!
Благоухает она по лесам,
Высокой дурманит травую.

Приподнимаясь, она парусит,
От берега к берегу ходит,
Раздольно гуляет она по Руси,
Родной уподобясь природе.

Благословенные видит места
Под утренней трепетной сенью
И, открывая тихонько уста,
Слагает свою Одиссею.

Половодье. По всей по Руси
Все-то реки справляют свой праздник,
Колобродят повсюду ручьи,
Безо всякой гуляют боязни.

Не страшится любой крутизны,
Из лесного выходит оврага
Эта светлая песня весны,
Говорливая эта ватага.

Даже утренник не прихватил,
Не стреножил ликующей песни,
Он так щедро озолотил,
Он поблекшие высветлил перстни.

Прибодрил краснотал, белотал,
Прикоснулся к заплаканной иве,
Он себя самого увидал
В неоглядном певучем разливе.

Половодьем, его глубиной
Захлебнулись рассветные зори,
Что слышны на опушке лесной
В глухаринном токующем зове.

В ГОСТЯХ У СТЕПАНА РАЗИНА

Гощу у Разина Степана,
В его гуляю курене.
Я утопаю в дюже пьяном,
Привольно льющемся вине.

Не ведаю ни дня, ни ночи,
Всё зелено, всё зелено.
А кто-то всё ещё разносит,
Хмельное черпает вино.

И атаман не клонит долу,
Не ронит голову свою,
По тихому гуляет Дону,
Донскую веселит струю.

Про Волгу говорит. На Волгу
Податься хочет атаман,
Он не забыл скороговорку
Сорочьих утренних полян.

Скликают шустрые сороки,
Сзывают дорогих гостей...
Пообочь луговой дороги
Железо пилит коростель.

Ах, это ржавое железо,
Царёвы эти кандалы!
И вылетают из-за леса
Российской вольности орлы.

Они свои гуторят речи,
Такие говорят слова,
Что перестала куролесить,
Ночная не кричит сова.

И не слышать скороговорки,
Трескучей болтовни сорок,
— Мой атаман подался к Волге,
Поволжский слышит говорок.

Мою смородину он слышит,
Мою малину веселит.
Заря колотится по крыше,
Рассветной дрожью сиверит.

Выводит из кромешной ночи,
Бодрит прозябшее зерно...
А кто-то всё ещё разносит,
Хмельное черпает вино.

В Нижнем Новгороде над Окой
И над Волгой ликуют рябины,
Нерушимый рушат покой
Щебетанием воробьиным.

Воробьиною скороговоркой
Заревой окликают рассвет.
Ну а я упиваюсь Волгой,
Той, которой давно уже нет.

Почивает в бетонном гробу
Всероссийская наша красавица...
На свою выхожу тропу,
Что с высокой горы спускается.

Извиваясь, уводит меня
К горько плачущей вербе.
Дождь, тихохонько семеня,
Воробьиный смиряет щебет.

Умолкают мои воробы,
Улетают к Печорской обители.
И синички в сполохах рябин
Уходящее лето увидели.

Не смолкая, глаголют уста
Уходящего лета.
Несказанная красота
Краше сделалась напоследок.

Жарким полымем дышит, горит
На горе на высокой,
Всё слышней верещит, говорит
Белобоккой сорокой.

Нерушимый рушит покой
Опочившей красавицы,
Что пресветлую прячет скорбь
В тальниковые заросли.

Неприкаянную слезой
Возле дивного града
Гасит утренних зорь
Воспылавшую радость.



**Эллина
САВЧЕНКО**

АРХАНГЕЛ В МОНОХРОМЕ

На хутор, находившийся в двенадцати километрах от регионального центра, я приехал ранним июльским утром: вошло в привычку приезжать на место раньше оговорённого времени съёмки, чтобы спокойно дожидаться клиентов.

У меня не было твёрдого тарифа за съёмки обряда крещения, что настораживало абсолютно всех – редко кто выходил на связь со мной повторно и делал заказ. На вопрос о том, как же всё-таки отблагодарить меня за услуги, я отвечал, что есть три варианта: либо дать мне посильное вознаграждение – по желанию сердца, либо пожертвовать что-то храму, в котором проходило крещение, либо раздать милостыню бродягам. Такой ответ казался моим клиентам не менее странным, и, чтобы долго не размышлять, они, как-то стыдясь и оглядываясь, клали мне символическую плату в карман...

Церквушка, в которой мне и предстояло снимать таинство крещения, не имела изгороди. Территория вокруг неё больше походила на пустырь. Я вошёл внутрь, чтобы оглядеться. Служба давно прошла, и Христово лоно гулко отражало звенящую тишину. В деревянных рамках невысоких окон неплотно держались мутноватые стёкла. Старые половицы местами прогибались и стонали. С простого иконостаса на меня глядел Архангел Михаил. Я точно знал, что этот образ – репродукция иконы кисти Андрея Рублёва. Бог весть откуда и как она тут оказалась... Глаз не отвести... Такая благодать разлилась по всему телу! Я сделал несколько снимков в монохроме на цифру и плёнку. Мне тогда казалось, что церковь изнутри вообще не имеет никакого цвета, кроме монохрома.

Коротая время, я вошёл в низенькую церковную лавку из самана, возле которой стоял старенький, с кривой рамой и облупившейся краской велосипед. Внутри никого не было. Всюду

-
- Эллина Сергеевна Савченко родилась в 1982 году на Колыме, в пгт Кадыкчан. Поэт, прозаик, публицист, фотохудожник, член Союза писателей России, почётный наставник молодёжи, руководитель Совета молодых литераторов Кубани, лауреат премии «Российский писатель» в номинации «Позиция», лауреат различных литературных конкурсов, в т.ч. международных. В конце 2019 года участвовала в совещании молодых писателей Китая и России. Публиковалась в различных периодических изданиях, в т.ч. газетах «Кубанский писатель», «Горячий Ключ», «День литературы»; журналах «Краснодар литературный», «Перископ», а также в журнале «ГражданинЪ», куда помимо рассказов вошли и авторские фотоработы; в одном из китайских журналов. Живёт в Каснодаре. Работает учителем литературы в школе семейного образования, ведёт творческую мастерскую.

стоял запах сырости. Через маленькое окошко на меня глядел скупой солнечный луч. Всё было пронизано сиротством и ожиданием... Я взял с полки икону Спаса и засмотрелся на образ. Затем машинально ощупал карманы брюк на наличие денег – только мелочовка... « Попрошу клиентов опустить в ящик пожертвование вместо платы за съёмку, с моей стороны будет плата за икону », – подумал я. В этот момент дверь лавки приоткрылась.

– Вы фотограф? – бодро спросил вошедший священник.

На вид ему было лет сорок, не больше, с виду худ и сутул; ряса, самая простая, что выдают на службе, была вся штопана. Тонкие длинные пальцы загладили за уши давно не мытые волосы...

– Доброе утро, батюшка! Да, крещение снимать буду. Клиентов жду... – ответил я и добавил: – Батюшка... а как бы икону эту приобрести?

– Сколько не жалко – в ящик опустит, – указал он на пластиковый контейнер и вышел на улицу.

Я удивился, однако икону поставил на место до поры.

Клиенты не заставили долго ждать – я услышал их шумные голоса. Приехала молодая семья с восьмимесячной девочкой, будущие крёстные и другие родственники. По всему было видно, что родители малышки да и всё соприрождение тоже – народец бойкий, выпить не промах, своё не упустит. Я поторопился наружу. Мы поздоровались и обговорили детали работы.

– Ребята! – обратилась молодая мама ко всем. – Скоро начинаем... Ужасно волнуюсь!

Я посмотрел на часы: действительно, через десять минут начнётся таинство.

Когда всё было готово, девочка неожиданно закапризничала, но очень скоро успокоилась на материнских руках. Окрестили малышку Ариадной. На детской грудке, поверх крестильной рубахи, засветился серебряный крестик.

Мы сделали ещё несколько постановочных кадров и засобирались.

– Отец Иоанн, – тихонько обратился новоиспечённый крёстный к священнику, – мне неудобно спрашивать... куда и сколько положить денег за таинство?

– Сколько по силам, – твёрдо ответил тот. – Можешь опустить пожертвование в любой ящик или кружку, что стоят в церкви.

Батюшка благословил мужчину и быстро направился к алтарю. Я собирал технику у лестницы, ведущей на колокольню, и невольно наблюдал за крёстным Ариадны. Тот подошёл к маленькой полукруглой кружке и поднёс руку со свёрнутыми купюрами к прорези. Однако пальцы неуверенно замерли над прорезью и напряглись, крепче сжимая деньги. Затем рука медленно, осторожно, словно воруя, положила деньги обратно в карман потёртых джинсов хозяина. Мне стало не по себе. Я мигом отвернулся и сделал вид, что ничего не видел. Уже на улице меня догнал отец малышки – пузатый, коротконогий мужчина.

– Сколько мы тебе должны будем? – спросил он.

– Вас, наверное, предупредила жена... – начал было я.

– Да, но неудобно как-то... – замялся клиент.

– В притворе стоит ящик для пожертвований – опустите туда сумму, которую сочтёте нужной отдать за мои услуги, – пояснил я.

– Добро! – широко улыбнулся мужчина.

Он вернулся к церкви. На паперти стоял теперь уже по праву так называемый кум. Они переговорили, глядя в мою сторону. Кум, хмыкнув, махнул рукой.

– Аркадий! – позвала меня мама Ариадны. – Погодите-ка!

Она проворно подбежала ко мне.

– Аркадий, а не могли бы вы ещё к нам домой проехать? Я у подружки фотокнигу попросила, на время, вам показать хочу. Мне так оформление понравилось! Мы тут в пяти минутах езды живём.

– Да, конечно! – согласился я.

– Тогда и пообедайте с нами заодно, – не отставала та. – Это дело отметить надо!

К тому времени я был уже голоден и подумал, что пообедать не помешает...

Все, полные веселья и радости, загрузились в машины. Действительно, очень скоро мы оказались на месте. Малышку Ариадну, утомлённую таинством и шумным окружением, переодели и уложили спать. Я сел с краешка, чтобы никого не смущать. Стол накрыли довольно быстро и просто.

– Аркадий, – хозяйка протянула мне фотокнигу. – Смотрите! Листайте, листайте... Вот, вот, видите? Чтобы не хуже! Мы так долго этого момента ждали, – она искренне и мечтательно, с предвосхищением разувалась.

– Кстати, батюшка-то наш из Сибири откуда-то, – заметил один из гостей.

– Он, наверное, оттуда прямо на своём велосипеде и приехал, – с иронией добавил кум.

– А говорят, – вмешался отец Ариадны, – что у отца Иоанна вера очень крепка. Видали, он ни о внешности, ни об одежде своей не парится... Вообще странно как-то: в лавке у него никто не торгует. Народ сам хозяйничает – бери, чего душа хочет. Я раз спрашиваю у него, мол, а если прихожане за те же свечи, к примеру, копейки кинут, ну, типа, не окупятся затраты церкви? А он мне отвечает: если так, значит, мало свечей на другой раз возьму – вот сколько оставят на свечи, на столько и куплю. Я ему опять: мол, мало свечей-то выйдет. А он мне: значит, много людям не надо. Чего их много покупать... Чудной какой-то. Спонсоров, что ли, не найдёт? В запустении всё...

– Ребята, – обратилась к хозяевам крёстная, – завтра же причастие, помните?

– Да Бог с ним, с причастием-то, – отозвался подпитый крёстный. – Мы получили что надо. И при своём остались.

Он похлопал себя по ноге, которую греди свёрнутые в кармане купюры, не обращая никакого внимания на меня. Все громко засмеялись, а в детской вдруг заплакала новоявленная христианка...

...Через пару лет меня снова пригласили на уже знакомый мне хутор отнять таинство крещения. Вероятно, новым клиентам меня рекомендовала Марина. В назначенный день я прибыл на место – и не узнал его! Вместо скромной церквушки и саманной лавки красовались только что отстроенная церковь и выбеленные постройки, вокруг которых купались в искусственном поливе многорадужные цветы. Сквозь современные пластиковые окна на новые выстеленные полы лилось подсолнуховое солнце. Из динамиков слышалось тихое песнопение, а святая вода автоматически начинала течь из мраморного кувшина при срабатывании датчиков, стоило только поднести к нему кружку. Я обомлел. Новый иконостас вытеснил старые образа. Пропал с него и Архангел в монохромe...

В церкви было оживлённо, витал дух новизны, красоты и торжественности...

Из дверей на паперть вышел солидный мужчина, перекрестился и достал из портмоне несколько новеньких сотен.

– Во славу Божию... – громко произнёс он, раздавая деньги сидевшим неподалёку попрошайкам.

– Ах, Сергей Иванович! Благодетель вы наш! – склонив головы, причитали старушки и женщины с детьми. – Бог вам в помощь, кормилец-батюшка! Как при вас-то всё облагородилось...

Следом вышел новый настоятель церкви, отец Афанасий, и встал рядом.

– Как же у нас всё хорошо! – довольно произнёс тот. – Слава Богу за всё!

– Во славу Божию! – довольный собой, не сбавляя высоты тона повторил Сергей Иванович. – Во славу Божию...



**Геннадий
РЯЗАНЦЕВ**

ЗАВЕТНОЕ СЛОВО

СОЧЕЛЬНИК

Ребёнку

Мы побредём с тобой, ребёнок,
В простор безбрежно снеговой.
Твой Голос так лучист и звонок,
Как этот неземной покой.
Зажгутся звёзды золотые,
Погаснет розовый закат.
Сейчас к тебе, моя Россия,
Прикован Бога нежный взгляд.
Нас ожидает нынче чудо,
Смотри, как светит на поля
Хвостатая звезда. Верблюды,
На них три статных короля.
Сосредоточены их лица,
Одежды тканые, чалмы.
Они идут, чтоб поклониться
Младенцу Богу средь зимы.
Темно в России. Звёзды яркие,
Волхвы несут в своих руках
Неслыханные здесь подарки
В тяжёлых, крепких сундуках.
Пойдём с тобой верблюжьим следом.
Ты видишь: на краю села
Укрытый снегом, словно пледом,
Вертеп и у ворот осла.
Нас встретит нежно Матерь Божья,
С высокой грустью у чела,
Она сюда по бездорожью
Вчера с Иосифом пришла.
Внутри уж надышали жарко,
Стоят, склонившись, короли,
Младенец спит, и три подарка
Тревожат сон Его, смотри...

-
- Геннадий Николаевич Рязанцев-Седогин – поэт, прозаик, литературный критик и эссеист. Член СП России, действительный член Академии Российской словесности. Обладатель «Золотого диплома» МСЛФ «Золотой витязь» и Большой серебряной медали им. Н. Гумилёва. Автор 15 книг. Живёт и работает в Липецке.

ЗАКАТ

Степная тишь. А за буграми
Закаты ярче и длинней.
И гаснущими вечерами
Сад полон медленных теней.

Всё меркнет, замолкают птицы.
Поник прозрачный воздух дня.
И тонкий запах медуницы,
Как в детстве, вновь томит меня.

По вечерам шмели и осы
Оставят яркие цветки.
Стоит июль. Идут покосы.
Луга пустеют вдоль реки.

МЕЧТА

Я хотел бы жить с тобою
До конца под сельским небом,
С деревенской голытьбою,
С молоком и чёрным хлебом.

Чтобы ты была простушкой
В белом ситцевом платочке,
Чтобы на часах с кукушкой
Вместо чисел были точки.

Чтобы в летний день воскресный
Колокол звонил к обедне
И в церквушке нашей тесной
Ты стояла бы последней.

В долгой складчатой юбчонке,
Тихо зажигая свечи
И рукою юной, тонкой
Осеняя лоб и плечи.

ПАМЯТИ БРАТА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Я выходил в глухую ночь,
В родную снежную безбрежность,
И как мне было превозмочь
Снегов холодных безмятежность.

Острее зрение и слух
Под звуки заунывной вьюги.
Прощай, мой брат, прощай мой друг.
Есть у России две подруги –

Зима да лютая метель.
Они Земле пророчат смерть,
Тебя навек схоронят в твердь,
Взбивая снежную постель.

Но не забыть родной Руси!
Она нам стала, брат мой, ближе.
Ты там, у Бога, попроси
За всех, кто в странствиях обижен.

Нас всех роднят напевы вьюг
Да песни Родины унылой.
Прощай, мой брат, прощай, мой друг,
Согретый холодом могилы.

АНГЕЛЫ

И я выходил
При Луне на дорогу.
Мне ангелы шли
Косяками навстречу.
Я сети готовил,
Обёртывал тогу,
Оружием были бессвязные речи.
Я понял, что нету
Возвышенной цели –
Ходить без клинка
До созвездия Рыбы,
И слышать звучание
Виолончели
От звёзд и галактик,
И видеть изгибы
Бегущих лучей
Сквозь дырявые сети,
И чувствовать тяжесть
В руках от улова.
Я – древний рыбарь,
Моё счастье на свете –
От ангелов слышать
Заветное слово.

ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ РОССИИ

Молись Крестам, Святая Русь,
Храни бессмертные глаголы,
Пусть светлая нисходит грусть
В твои леса, поля и доли.

Враги со всех сторон идут,
Но сквозь пространства огневые
Кресты, как знаки верстовые,
Тебя к спасенью приведут.

Как томителен срок ожидания,
И никто мне не может помочь.
Словно ангельское ликостояние –
Эта дивная звёздная ночь.

Мучит мысль о последней разлуке
С чудным миром, с тобой, милый друг.
Как тревожны полночные звуки,
Как сияет Луны полукруг!

И за всем этим тёмным пределом,
Где пространства и времени нет,
Ты идёшь в ослепительно белом,
Словно не было прожитых лет.

ПОЛНОЛУНИЕ

Как нимб, блистая позолотой,
Сияла полная луна.
Окутан город был дремотой,
Плескалась на камнях волна.

Ногою гальку приминая,
Мы шли неспешно вдоль волны.
И резко горизонт у края
Светился в отблеске луны.

Казалось, что вот-вот коснётся
Диск водной глади, и тогда
Вскипит тяжёлая вода
И Божий мир перевернётся.

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ

Была здесь некогда излучина реки –
Остался склон с сожжённой травой,
Сюда коней гоняли мужики
Весенней целиною к водопою.

На самом дне, у склона, притаюсь,
Пульсирует живой водой родник.
Над ним иконка – «Благоверный князь»,
Но время стёрло светоносный лик.

Среди густой травы ведёт тропа,
На камне жёлтом кружка и корец,
Но сохранила русская судьба
Над родником старинный голубец.

СВЯТОМУ ДУХУ

Ты утешаешь нас в часы молитвы,
Ты утешаешь нас в чужом краю,
Ты воина хранишь во время битвы
У страшной бездны на краю.

Ты – Царь Небес, Властитель Истин вечных,
Тебе принадлежат тепло и свет,
Ты почиваешь в недрах бесконечных
Отца веков, галактик и планет.

Приходишь Ты дыханьем чутким ветра,
Прохладой новой утренней зари,
И нет нежнее и прекрасней света –
Он согревает души изнутри.

Приходишь Ты в явлениях страшной бури
И в грозных всполохах небес,
Когда нет в небе ни клочка лазури
И, замерев, стоит притихший лес.

ПУТЁМ ЗЕРНА

Пахали в ночь. Погожие деньки.
Успеть, успеть посеять в землю зёрна.
Седые небеса пространны, глубоки,
Земля вздохнувшая покорна.

Кормилица и ласковая мать.
Тебе не занимать терпения и воли,
Ты не устала со смиреньем принимать
Людей, не помня ни обид, ни боли.

Падёт зерно в твою святую плоть,
Его пробудит дождь, взлелеют ветры.
Путём зерна, считая километры,
Пойду и я. Благослови Господь.



Елена
ОБУХОВА

Я ШЛА ПО УЛИЦЕ И ЖДАЛА ЧУДА

Был вечер накануне Рождества. В дверь позвонили и робко сказали сквозь цепочку:

– Мы славильщики...

Дверь была закрыта, а они стояли и кричали под дверью:

*Славите! Славите!
Сами, люди, знаете,
Зачем пришёл? –
За копеечкой!
Не дадите пятака –
Мы корову за рога,
А тёлушку за хвост
Поведём на мороз!*

И совсем громко:

– Здравствуй, хозяин с хозяйшкой, с Рождеством, с Христом, с праздничком!

Дверь была закрыта. Дети не уходили.

*Маленький Юнчик
Сел на стульчик,
На дудочке играет,
Христа поздравляет.*

И вместе громко:

– Здравствуй, хозяин с хозяйшкой, с Рождеством, с Христом, с праздничком!

Дверь была закрыта. Но дети всё не уходили. Они шумели, топали ногами. Потом дети ушли.

Я была около двери, потом отправилась в свою комнату, надела наушники и включила голос Патриции Каас.

Я всё вспомнила. Это было в детстве. Это было в то время, когда Иисус Христос был для меня живым и был всегда со мной.

-
- Елена Михайловна Обухова родилась в таёжном посёлке Кемеровской области. Жила в селе Воскресенском Курганской области. Окончила Курганское культурно-просветительное училище по специальности «Режиссёр народного театра» и Литературный институт им. Горького. В настоящее время живёт и работает в Ярославле.

Сейчас Он стал Единым и Вседержителем и воплотился в старую деревянную икону, обитую потемневшей от времени медью. А тогда Он был Живой и всегда со мной.

«Ну, иди, Христос с тобой», – говорила мне моя бабушка. И Он действительно был со мной.

Вечер перед Рождеством Христовым только начинался. Я – безотцовщина и учительницын ребёнок. Зауральская деревня Воскресенка, названная во славу Воскресения Господня. В деревне сто дворов.

Я слушала Патрицию Каас, её голос как дождь, он завесой отделял меня от всех и оставлял наедине с собой. Поэтому я любила её слушать.

Вечер перед Рождеством Христовым только начинался. Была длинная-преддлинная деревенская улица. Мы шли из школы домой. Дорога прочищена до мёрзлой земли. А по бокам высились огромные горы снежные, и к каждому дому вела прокопанная дорожка. К иному дому – широкая, прочищенная тем же трактором-бульдозером, а к иному – узенькая, в одну штыковую лопату.

Мы шли с ранцами на спинах и мешочками со сменной обувью в руках. И говорили мы о своей учительнице.

– Раиса Николаевна сказала...

Учительница Раиса Николаевна была и моей мамочкой. Она была и учительницей, и моей мамой. Это было моей трагедией. И эту трагедию я носила в себе.

– Раиса Николаевна мне сказала...

– Мне!

– Нет, мне!

И могла быть драка. А сегодня у нас было сочинение: «Кем я буду?», и все шли наполненные до макушки разными приятными мыслями. И все были важными и хвастались.

Юрка Цеунов хотел быть космонавтом, как Юрий Гагарин. Татьяна и Светка Ефимовы хотели быть врачами в городе. Я хотела быть... не помню кем. Мы так замечтались, что не заметили старуху Смолячиху, она шла, опираясь на палку. Слушала нас и улыбалась.

– Лётчиком, космонавтом...

Старуха засмеялась, закашлялась:

– Колхозниками будете... – Смолячиха откашлялась, – девки-то доярками, да****ями будут, как мать ихняя. Ты, Катька, училкой будешь. А Юрка говно будет возить... – Бабка кашляла, смеялась.

Мы шли и молчали. А когда отошли от Смолячихи, то Юрка тихо сказал:

– Я шофёром буду, как папка. Катька учительницей будет, как Раиса Николаевна. Танька со Светкой будут врачами. А Смолячиха сдохнет...

Мы обрадовались и весело закричали: «А Смолячиха сдохнет! Смолячиха сдохнет! Сдохнет!»

Старуха перестала смеяться. Перестала кашлять. Сгорбилась, свернула на свою в одну штыковую лопату дорожку и пошла, опираясь на палку. Она шла, ей было тяжело. А мы радовались и кричали, что она когда-нибудь... и раньше нас... Мы были глупыми-глупыми. Мы смеялись.

А вечером мы собирались славить. У каждого была в зачатке своя особенная славилка, на которую больше подадут, может, даже и рубль. Это был предел наших мечтаний. Но если конфеты, пряники, печенье, куски пирога (особенно с капустой либо с клубничным вареньем!), каральки, сырчики (замороженные комочки творога, сметаны и сахара), а может быть, и орехи!

И пусть даже семечек полный карман. Мы не были голодны, но еда была достаточно однообразной, чтобы томительно ждать Рождества и Родительского дня. В эти дни мы ели что-то особенное, чужое и потому вкусное и запоминающееся. Рождества мы, слава Богу, дождались. Мы договорились, кто за кем зайдёт. И разошлись по домам.

- Кто там? – встретила меня моя бабушка, Валентина Семёновна Русанова.
- Это я, – сказала я, – и Христос со мной.
- Слава Богу, что с тобой, – отвечала бабушка.

Мы с ней всегда так говорили, когда я приходила. Это была наша тайна. При маме мы так не говорили. А впрочем, мы так говорили всегда, потому что мама была учительницей и работала с утра до позднего вечера. А потом приходила и проверяла тетради учеников до ночи. А утром рано вставала и уходила в школу. А меня и кормила бабушка, и воспитывала, и давала полезные советы:

– К председательше, да к агрономше, да к бухгалтерше не ходите. Ещё собак напустят.

Это я уже знала.

– К Анастасии ходите, она с утра стряпает.

Это уже было интересно. У бабки Анастасии очень вкусная молочная стряпня.

– К Дарье Васильевне ходите, она не поднимается. Пославьте подольше у неё. Пусть послушает. Да ничего не берите у неё. Поздравьте и идите.

– Ладно.

– К Кабаевым зайдите. У них гости, городского что подадут.

Это было полезное сообщение.

– Смолячиху зачем дразните? Больная она, рак у неё. А вы?..

– Сама первая начала дразнить.

– Слышала я всё. Болит у неё, потому она и такая злая. А вы, наоборот, с уважением к ней. Понимания никакого у вас нет. А пора бы иметь.

Против этого я тоже не была. Я ела. Мне нравилось сидеть за столом, есть молочную лапшу или картошку с квашеной капустой со льдинками, только из погребца, и слушать бабушку. Она говорит и кормит меня: то картошки подложит, то хлеба отрежет кусок, то молока подольёт. И говорит-говорит...

– Так ты эт не слушаешь? Ешь да слушай.

И запах особенный – запах принесённого с мороза белья. И ещё запах разноцветных тряпочек, чистых и древних, из которых плелись на пол кружочки, и квадратики, и длинные коврики. И которые напоминали о бывших платьях, платках и кофточках, которые отслужили свой срок, износились или просто стали нелюбимыми или маленькими и – ушли в бесконечно длинные разноцветные тряпочки. Туда же ушли мои красные вельветовые штаны, широкие по моде, и ещё носки, и ещё любимые, но взятые бабушкой по рассеянности, «для цветку». Я не высказывала ей своей обиды. Я забрала этот коврик к себе и положила его у своей кровати. Утром, босая, я стояла на нём.

– Ешь да слушай, что старые говорят.

Я ем и слушаю. В доме нашем живут три женщины: бабушка, мама и дочь. Мужиков у нас нет. Дом большой, деревянный, в две комнаты. Назы-

ваем их – комнатой и кухней. На кухне, на печи и на полотах (настил из широких досок почти под самым потолком) – баба Валя, в комнате – я и мама. Но так как я дома, а мама всегда в школе, то я проживаю. У бабушки – кухня, у меня – комната.

С бабушкой мы живём дружно, с мамой – не очень. Мне не хочется сидеть с ней в школе и оформлять бесконечные стенды и разную наглядную агитацию или вдавливать правила арифметики в стриженные головы октябрят. Мне хочется сидеть дома, читать книги или беседовать с бабушкой. Из школы я бегу под любым предлогом. Я не люблю школу. Может быть, потому, что там моя мамочка – и не просто учительница, а моя учительница. Меня это просто убивает. Я убегаю из школы.

Я сижу с бабушкой. Бабушка рассказывает сказки. Но я её уличила. Она читает мои книги и пересказывает их своими словами. Книги разные, но у неё получаются все – сказки. В последний раз я взяла книгу «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича. И вчера вечером получила отличную назидательную сказку о великом грешнике, преступившем Божью заповедь «не убий». Черти смутили его и вконец загубили. Книги бабушка читала, начиная от конца и заканчивала началом и эпиграфом. Она надевала очки, наливала поллитровую кружку молока и читала. Допивала молоко и дочитывала книгу до начала. Дочитывала, долго рассматривала портрет автора, предисловия никогда не читала. Закрывала книгу, иногда говорила: «Полезная книга»; иногда: «Не читай, а то такая же станешь пустоголовая».

Гоголя она не любила, говорила, что дьявол его рукой водит. Мне это было обидно слышать. Я часто брала книги Гоголя в библиотеке. И в доме ставила их на самые видные места. И это не было проявлением духа противоречия. Я читала Гоголя, мне он нравился, и вечная ему память. Я уверена, что душа его в раю.

– Ешь да слушай, что старые говорят.

– Да я уже всё поняла.

Я беру сшитые из разноцветных тряпочек – один побольше, другой поменьше – мешочки. Два мешочка всегда лучше, чем один. Я надеваю полушубок и шапку заячью с длинными ушами, и валенки, и рукавицы из овечьей шкуры. Я одеваюсь потеплее, потому что сейчас мороз 30 градусов, а вечером и все 40 будет. Бабушка крестит меня и уже напоследок говорит:

– К Смолячихе зайдите...

Я убегаю. Мы собираемся к пяти часам вечера. Мы – нас четверо: Юрка, Танька со Светкой Ефимовы и я. Танька со Светкой хвастают:

– У нас новый папка, тихий такой, всё телевизор смотрит. Конфет нам дал...

– Подожди, пообвыкнется, с фингалами опять все будете ходить, – «успокаивает» Юрка.

Светка с Танькой не против:

– Ничего, нам не привыкать. Мамка ещё найдёт. Мамке нашей нетрудно. За ней все бегают. Вон и председатель наш тоже влюбился. Да мамка наша не захотела его. Брюхо-то отрастил, будто беременный...

– Давайте сегодня сходим к ним. От их дома так пахнет... Мы с Танькой стояли целый час, нюхали. Пирогам и сметанными шанежками...

– Да, надо бы попробовать к ним первым.

Мы идём за Юркой.

– Баба Валя моя не велела: собаку опять спустят, как в прошлый раз.

– Да, она по двору без цепи бегают.

– Да, не пройти.

– А ежели через сад... да к окошку – и постучать? Поди ж выйдут и привяжут собаку.

– Не!

Юрка перелезает. Стучит в окно. «Мы – славильщики!» – кричит.

Собака лает, в окнах горит свет. Но дом стоит мёртвый. Юрка лезет обратно. Мы дразним собаку. Она неистовствует, бросается на ворота.

Мы уходим от дома председателя. Это огромный кирпичный дом с застеклённой верандой, с большим садом и огородом, с летней кухней и баней по-белому. И всё это за высоким забором.

– Говорят, у него и туалет, и ванная в доме...

– У бухгалтерши тоже и ковры персидские везде, что и ступить негде простому человеку.

Мы смотрим на Юрку. Юрка заговорил как его бабка. Он морщится как бабка и оттопыривает нижнюю губу:

– И агрономша туда же со свиным-то рылом. Три класса закончила да четвёртый коридор. За агронома замуж вышла. Губы да ногти красит, а шею не моет.

Мы смеёмся. Бабка у Юрки такая – всё знает, всех на чистую воду выведет.

– Парторгша тоже отстроила себе усадьбу, помещица, да и только. Была Дунька, вся рожа в прыщах, а теперь начальница, в магазине всё без очереди берёт, на людей не смотрит, за людей нас не считает. Так и говорит: «Быдло вы, скот, какие вы люди...»

Мы уже не смеёмся. Бабка Юркина злая, но честная, справедливая. Мы молчим, замолкает и Юрка. Становится совсем темно. Мы смотрим на небо: оно бордовое. Появляется луна, становится светлее и холоднее. Мы бежим по длинной улице, дом председателя стоит вдали от деревенских улиц. Он крепко и обширно стоит, самый первый на повороте асфальтированной дороги, которая ведёт из города к деревне и насчитывает 37 километров. Пролетает она меж лесов берёзовых, осиновых и полей пшеничных и кукурузных.

Мы бежим к дому Кабаевых. Катерина Петровна – наша учительница. У неё есть своя беда: у неё пьёт муж. Он работает в строительной бригаде, хозяйственный, мастер на все руки. Но – пьяница. И любим мы Катерину Петровну за это.

Я в детстве всегда любила людей, у которых есть своя беда, которые носили свою трагедию. И некоторые достойно носили в себе эту трагедию. Вырастая, я поняла, что у каждого человека есть своя трагедия в душе. Только не каждый может нести её достойно. Вчера вечером на дополнительном уроке литературы Катерина Петровна рассказывала нам о легендах и сказаниях Афанасьева. Мы замирали, когда она читала: «Принимал Бог вид старика нищего и шёл по деревне с двенадцатью апостолами... Защищал бедных и нежадных и наказывал богатых и жадных. И исполнял желания бедняков...» И замер класс, и задумалась Катерина Петровна. А потом загалдели, у каждого было своё: и не куклы, и не машинки, а непьющий отец и не бьющий, и мать не гулящая, и кусок мяса, и конфеты шоколадные, и сахар... Когда наговорились, то на учительницу смотрели и молчали. Катерина Петровна смотрела в окно, была бледна и молчала. Все думали, что сейчас заревёт учительница. Но нет, повела плечами, собрала силы – и полился урок дальше, только уже совсем о другом: о легендарном, о героическом, и далее, далее. Но мы её за те минуты ещё больше полюбили. И хорошо все запомнили, что ходит Господь наш по улице всегда неожиданно в виде старичка-нищего и бедным помогает.

Сейчас, вспоминая, я с трудом представляю, как по колхозной улице, которая ведёт в правление колхоза, и по этой вот улице идут-бредут старикниций и двенадцать апостолов. А рядом или навстречу им идёт наш председатель с тремя подбородками или едет на чёрной блестящей «Волге». Прости меня, Господи, за эту картинку.

Мы забегаем во двор к Екатерине Петровне и по деревянному настилу – в сенцы и громко стучим ногами, кричим: «Славильщики, славильщики пришли!» Екатерина Петровна встречает, улыбается, говорит:

– Проходите, славильщики, милости просим, с чем пришли?

Молодчина, она знает, как подбодрить нас. И тут мы начинаем вразноголосоцу:

*Славите! Славите!
Сами, люди, знаете,
Зачем пришёл? –
За копеечкой!
Не дадите пятака –
Мы корову за рога!
А тёлушку за хвост
Поведём на мороз!*

И все вместе громко: «Здравствуй, хозяин с хозяйшкой, с Рождеством, с Христом, с Праздничком!» Катерина Петровна качает головой, мол, ничего-ничего, а ещё, ещё?

*Маленький Юнчик
На дудочке играет –
Христа поздравляет!*

И все вместе: «Здравствуй, хозяин с хозяйшкой, с Рождеством, с Христом, с Праздничком!» Катерина Петровна улыбается, она довольна, она подаёт нам:

– Натё, славильщики, да уж не троньте коровушку мою и тёлушку мою не троньте...

Из дверей выглядывают две маленькие учительницыны дочери, они хихикают и прыгают от радости.

Катерина Петровна кладёт каждому в мешочек конфеты «барбарис» и шоколадные «ласточка» и «полёт», они с белой начинкой, и печенье «апельсиновое», и по три грецких ореха в каждый мешочек. Она, Катерина Петровна, кладёт в каждый мешочек по одной шоколадке «Алёнушка».

Первое наше ошеломление прошло, и мы очень довольные. Уж на шоколадку мы и не смели рассчитывать. Она приглашает нас попить чайку с её любимым тортом «черепашка». Мы садимся прямо в шубах и в валенках и пьём в меру горячий чай, проглатывая солидные куски вкусного торта. Учительницыны девчонки прыгают вокруг нас и хлопают в ладоши.

Мы выбегаем на мороз, теперь и славить будет веселее. Навстречу нам бегут наши одноклассники.

– Вы куда? – спрашиваем мы их.

– К Екатерине Петровне! – кричат они.

– А откуда? – спрашиваем мы их.

– От агрономши, она сегодня подаёт славильщикам! – кричат они уже из-за ограды учительницыного дома.

Мы бежим к агрономше. Долго славим и читаем «Рождество». Оно длинное, мы путаемся, подхватываем один другого. дочитываем до конца. Агрономша довольна. Она даёт нам по три рубля каждому и по прянику длинному тульскому. Агрономша довольна, повторяет с нами: «С Рождеством, с Христом, с Праздничком!» – и даёт нам ещё по полтиннику и по прянику тульскому.

Мы выбегаем на мороз. Три рубля пятьдесят копеек – это сверх всяких ожиданий! Целое состояние. Потом мы забегаем по очереди ко всем бабушкам. Мы читаем им «Рождество». Бабушки утирают глаза, гладят нас по головам и подают в руки куски пирога, и шанежки, и тёплый хлеб, и по пяти копеек каждому. Они крестят нас, крестят себя. И мы бежим на мороз.

Забегали мы и к Смолячихе. Она поджимает губы, смотрит колюче. Но мы читаем ей долго всё, что знаем. И она тает. Она нас тоже гладит по головам и вытирает концом платочка глаза. Нам даёт по десять копеек и пирожки с капустой и картошкой и с клубничным вареньем. Мы складываем их в другие мешочки, отдельно от конфет, орехов и от шоколадки «Алёнушка», но вместе с другими пирогами и с тульскими пряниками. Мы складываем всё неторопливо и аккуратно. Бабушка Смолячиха смотрит и помогает нам. Но вот мы готовы, и хозяйка нам даёт ещё по пирожку на дорогу.

Мы выбегаем на мороз. Едим пирожки горячие, от которых идёт пар. Мы видим, как от дома к дому бегут ребяташки по пять-семь человек – это наши конкуренты. Мы стараемся снова пробежать первыми, и это нам удаётся. Нерасторопная малышня остаётся у ворот. Мы уже не знаем, к кому мы прибежали. Мы стараемся запомнить, у кого уже были. Юрка ведёт учёт.

И тут происходит первое чудо в этот вечер – вечер перед Рождеством Христовым. Мы останавливаемся у порога, пробежав длинный асфальтированный двор мимо привязанной на цепь, охрипло лающей собаки, мимо...

Мы останавливаемся у порога и застываем с открытыми ртами: председателя жена, пухлая, белая, с рыжей копной шиньона на голове, улыбается нам и ручки свои с накрашенными ногтями сложила на животе.

Мы поём «Рождество»... У нас получается. Наши голоса, звонкие от мороза, мы забираемся высоко и боимся как бы не сорваться и не дать петуха. Но нет, мы вытягиваем и поём дальше. Мы взволнованны, ведь это уже искусство. Мы здорово поём, будто под сводами большого концертного зала. И мы забываемся, где мы и что с нами, и улетаем бог знает куда... «Слава! Слава Тебе!»

Из комнаты выходит сам председатель. У него умное усталое лицо. Он нам кажется не таким уж и толстым. Он становится вдруг очень пожилым и усталым. Он смотрит на нас. Он поздравляет нас с Рождеством Христовым. Он уходит на минутку.

Он медленно идёт и несёт из комнаты вазу, она хрустальная и похожа на цветок. Полна фруктов. Он берёт сразу по два апельсина и даёт нам.

Это было первое чудо за вечер. Ни апельсинов, ни лимонов, ни ананасов мы никогда не ели. Но читали про них в книгах. Яблоки в магазине привозили осенью, но не такие огромные и красные.

Мы стояли и ещё что-то пели и читали. Но каждый стоял и мучительно думал, что же он будет делать с двумя апельсинами. Если б один, или половинка, или четвертинка большого апельсина, то было б понятно – с наслаждением, маленькими кусочками, вместе с кожурой. А тут целых два, их и есть теперь жалко. Пели мы уже не очень хорошо и вразноголосицу, и каждый держал по два апельсина в руках.

Потом мы укладывали своё богатство в сумочки с конфетами и шоколадкой «Алёнушка». Председателя жена подала ещё нам конфет и ещё что-то и проводила до ворот. Она улыбалась.

Мы выбежали на мороз и бросились каждый к своему дому. Но я закричала:

– К Дарье Васильевне! К Дарье Васильевне надо сходить.

Они остановились и стояли, каждый чувствовал, что у него в мешочке лежат два апельсина, одно красное яблоко, грецкие орехи, шоколадные конфеты и шоколадка «Алёнушка». Но они знали, что Дарья Васильевна больна и к ней надо сходить, что она уже не поднимается с постели.

Мы бредём к Дарье Васильевне. Мешочки наши надёжно перевязаны. Дарья Васильевна лежит и плачет. Она слушает нас. Мы поём «Рождество». Мы знаем, что ничего не подадут. Но мы поём так же хорошо, как и у председателя. Наши голоса стремятся к Господу и долетают до Него. Ведь именно Он послал нам по два апельсина. Разве ж председатель подал бы? Ведь он ездит на своей длинной чёрной блестящей «Волге» по улицам и не смотрит на нас. А если и смотрит, то как на будущих колхозников, а не как на созданий Божьих.

Мы поём и читаем всё, что знаем. Дарья Васильевна плачет, нас крестит. И мы выбегаем на мороз. Теперь нас никто не удержит – мы бежим по домам и на тёплые печки, осмотреть хорошенько дары. Потом, позже, мы ещё встретимся.

Я бегу по улице, в нашем доме светятся окна. Наша собака Шарик привязана на короткую цепь у конуры. Она охрипла от лая. Я останавливаюсь и быстро думаю, что бы ей дать из своих даров. Но мне всё жалко. Может быть, кусочек пирога? Но нет, не могу, жалко! Надо сначала всё посмотреть хорошенько, потрогать, понюхать и откусить. А потом уж, может быть, кому что и дам. Мне становится стыдно. Я объясняю Шарiku: «Понимаешь, холодно, завтра Рождество, а до Родительского дня ещё долго-долго». Шарик всё понимает. Он смотрит на меня и бьёт хвостом по снегу. Я бегу в дом.

Тут меня ждёт второе чудо. Я забегая, красная от мороза и шумная от того, что у меня в сумочке из разноцветных тряпочек... Но я замираю на месте: в доме, около порога, стоят мои одноклассники и соперники, они высокими голосами стройно поют «Рождество». Они поют лучше нас. А рядом с ними стоят мои мама и бабушка. Они взволнованы от мороза, таявшего на шапках, варежках, шубах и валенках детей. Они взволнованы от детства, всегда шумного, шкодливого, часто утомительного для взрослых. А сейчас вдруг освящённого покоем, торжеством, величием слова, его вечностью.

Я стояла и слушала. Они здорово пели, мои соперники. Они пели лучше нас, среди них была Оля Астапова, она всегда запевала все пионерские песни на сборах, концертах, линейках. И сейчас её голос уносился выше всех голосов. «До Господа долетит, – подумала я, – а вдруг выше?»

Я испугалась. Я стояла и слушала. Я не узнавала своей мамы. Она не была учительницей, она была хозяйкой нашего дома и моей мамочкой. Она слушала и загадочно улыбалась. Её улыбка была немного странной, она была слишком странной для моей строгой мамы.

А бабушка, моя бабушка Валя губами шёпотом повторяла слова «Рождества», она держала в руках поднос с конфетами шоколадными, сырчиками

творожными, печеньем, красными и, как мне показалось, большими яблоками, с маленькими твёрдыми грецкими орехами и с жёлтыми солнечными мандаринами. Я очень удивилась, я никогда даже и не подозревала, что у нас в доме есть такие богатые дары. А мои соперники видели их и старались угодить хозяйкам. Они пели и читали как подобает. Они старались.

Я послушала ещё, потом сняла верхние одежды и полезла на печь. На печи было тепло, светло, просторно и пахло извёсткой. Я стала раскладывать свои дары. Хлопнула дверь – это убежали славильщики, весьма довольные. Мама с бабушкой молчали, они ждали ещё ребятшек. Но прибежали соседи, взрослые. Они плясали, были все выпившие изрядно, искусственно веселы, они хохотали и глупо друг за другом повторяли:

*Маленький мальчик
Сел на стаканчик.
Стаканчик храм –
Подай сто грамм.*

Бабушка налила им по стаканчику красного вина. И они ушли. В доме было тихо, я созерцала свою добычу. Я положила всё на белое полотенце.

Потом потихоньку выглянула в комнату. Бабушка смотрела в окно, в темноту. Мама сидела у стола и продолжала странно улыбаться. На столе лежал поднос, там были ещё конфеты и мандарины.. Я решила, что, как только мама перестанет странно улыбаться, я слезу и попрошу мандаринку.

Свои два апельсина я держала в руках. На каждой ладошке лежал жёлтый апельсин. Апельсины не должны были лежать возле многочисленных пирогов, на вышитом красными петухами белом полотенце, и потому я держала их в руках. Они не должны были находиться на русской печи. Они вообще должны лежать в хрустальной вазе в председательском доме. Но каким-то чудом они оказались на печи у меня в руках.

В дом забежали ребятшки и запели. Сначала они были шумные, но потом присмирели. Они пели, читали. Они добросовестно славил. Я выглядывала из-под занавески на печи. Потом они мне надоели. Приходили славильщики ещё и ещё. Я уже не надеялась, что мне достанется хоть одна маленькая, самая маленькая из всех маленьких мандаринок, мандариночка.

Бы уже одиннадцатый час вечера. Я собрала дары в мешочек и спрятала в холодных сенцах. Пришли Юрка и Танька со Светкой. Мы сидели и пили чай, мама угощала нас пирогом сладким с творогом. Потом конфетами, пряниками, печеньем «лимонным» и мандаринами. Они оказались немножко кисленькими. Мы отделяли дольки, клали их в рот и сильно сжимали зубами – прохладный сок брызгал на язык и на небо. Мы запивали его горячим сладким чаем. После чая мы оттаяли и стали сонными. Нам даже не хотелось рассказывать и хвастаться своими дарами. Мы забрались на печь и лежали. Полчаса или час мы вздремнули. А потом пошли прогуляться. Мама спала. Бабушка проводила нас до ворот, отпустила Шарика с цепи. Она зевала, что-то шептала и крестилась.

Светила луна. Белел снег. Мы шли по улице. Славильщики уже сидели все по домам. Молодёжь воровать ещё не выходила. Мы были в одиночестве на улице. Нам ничего не хотелось, и ничего нас не радовало. В наших карманах лежали и конфеты, и мандарины. Но мы были сыты. И нам ничего не хотелось.

Я вспомнила, как мы здорово пели у председателя. И как здорово пели у нас. Я ходила по морозу и думала. Когда бродишь, вообще лучше думает-

ся. Да ещё ночью при ясной луне по хрумкающему снегу. И я придумала. У председателя мы пели, чтобы он вышел к нам, большой и усталый, смотрел на нас, чтобы вдруг увидел, что мы есть и что сегодня вечер перед Рождеством Христовым. А дома у нас так пели, чтобы мама моя оттаяла от школы, чтобы у неё появилась эта странная улыбка. Я была уверена, что с ней, со своей странной улыбкой, она и спать легла. А когда человек спит, то его душа находится очень близко к Богу. Ну, совсем рядом. А когда просыпается, всё, что снилось – обман. Мы шли, через час настанет день Рождества Христова. Моя бабушка будет всех поздравлять, наденет голубую юбку, белую кофту, ни разу не надёванный платок, тоже белый, с красными розами и зелёными листиками.

От неё будут исходить свет и радость. Она будет суетиться и всем стараться угодить. Она будет шептать: «Младенец родился... спасенье нам, грешным...» И, будто самая грешная на свете, будет стоять у иконы на коленях и просить Господа простить её великие грехи. А какие у неё грехи? Но, говорят, что женщина и против своей воли грешна. Ей сам Бог велел грешить и каяться в грехах.

Потом я стала думать о чуде. Два чуда было у меня за один вечер. Это много, но не для вечера перед Рождеством. Настоящего чуда всегда сначала немножко пугаешься, потом ему удивляешься и, наконец, радуешься бесконечно. А при воспоминании остаётся только радость от всякого чуда.

Я шла по улице и ждала третьего чуда. Остался до полуночи всего один час, и должно произойти третье, самое настоящее чудо. Я старалась о нём не думать, потому что чувствовала, что оно произойдёт сейчас. Вот только пройдем переулочек и выйдем на гладко вычищенную от снега асфальтированную дорогу, которая ведёт в город.

Он шёл со стороны леса... Он был босиком. Он был в рваном осеннем пальто и в кроличьей шапке с оторванным ухом. Через плечо у него висела сшитая из белого полотна сумочка. Сумочка была полной. Было лунно, он шёл далеко от нас. От него исходил свет. Мы остановились и открыли рты. Мы забыли обо всём. Мы смотрели на него, на старичка-нищего.

Он шёл к нам. Мы пригласим его сейчас к себе. Мы с ним поделимся всем, что есть у нас в доме. Мы ему расскажем все наши беды. Он поможет нам. И мне. И Юрке. И Светке с Танькой Ефимовым. Мы стояли, и радость заполняла нас горячей волной, на глазах выступили слёзы. Мы уже знали, что будем просить у него. И за себя, и за своих одноклассников. Чтоб никого не забыть. Но это всё потом. А сейчас мы стояли и смотрели на него, и нам хотелось стоять и смотреть, как он идёт по улицам нашей деревни, приняв вид старичка-нищего. Без апостолов. Он идёт один. Он нам поможет и спасёт, и защитит.

Но потом мы вдруг поняли, что ничего нам от него не надо. Только вот так стоять и смотреть. Как он сам идёт к нам по нашей деревенской улице. И ничего мы у него просить не будем. А будем только радоваться, что пришёл... Можно только смотреть с радостью и глотать слёзы. Он идёт по дороге, и доходит до нас, и идёт мимо нас. Ночь светлая при полной луне. Мы узнаём Толю-немка, он – деревенский дурачок. Он всегда ходит босиком. На плече у него висит мешочек, набитый дарами, в руках он несёт по большому жёлто-оранжевому апельсину. Он несёт их в ладонях на вытянутых руках и смотрит на них огромными от восторга глазами. Он проходит мимо нас, Толя-немок-дурачок.

Но нам уже всё равно. Мы видели Его. И это третье чудо. И оно – самое настоящее.

Мы идём по домам. Я забираюсь на полати. Долго не могу уснуть, рядом со мной лежат два больших апельсина.

Утром я уезжаю в деревню. Баба Валя стара. Она смотрит на меня долго и внимательно. Улыбается. Я привезла с собой деревянную старинную икону Господа и поставила её на божничку. На следующий день баба Валя поднялась с кровати и даже выходила во двор. Смотрела на солнышко, чихала и смеялась. А ночью сказала мне как самую большую свою тайну:

– Ты знаешь, что такое старость? Старость – это детство.

Горела свечка. Большая деревянная икона, обитая медью, стояла на божничке среди бумажных изображений святых ликов. Я посчитала, их было двенадцать.

– В детстве просто знаешь, что Он рядом, и всё. Не ищешь Его. А к старости начинаешь чувствовать, что Господь живой и где-то рядом. А в старости чувствуешь, что где-то очень-очень рядом Он. Беспокойство тогда одолевает. Ищешь всё Господа. Ищешь Его...

Моя бабушка Валя часто дышала и улыбалась.

– А когда ты увидишь Его, живого, рядом с собой, словно свет Его коснётся тебя. Словно родишься... Это и есть смерть.

Ей было плохо, она тяжело и часто дышала. Я хотела бежать за докторшей. Но посмотрела на икону и опустила на колени.



**Николай
АЛЕШКОВ**

ПОЛЕННИЦА

Поздние хризантемы.
Воспоминаний рой...
В осени тонем все мы –
Только глаза открой.
Берег, река, берёзы.
Листья уже в траве.
Время суровой прозы,
Оклики в синеве.
Что журавли кричали?
Был ты когда-то люб.
Запах былой печали,
Память желанных губ...
За журавлями все мы
В небо вот-вот взлетим.
Поздние хризантемы,
Памяти сладкий дым...

-
- Николай Петрович Алешков родился в селе Орловка Челнинского района ТАССР 26 июня 1945 года. Работал монтером связи, электриком, кровельщиком. Основная трудовая деятельность связана с журналистикой и литературной работой. В настоящее время – главный редактор литературного журнала «Аргамак. Татарстан». В 1982 году окончил заочное отделение Литературного института им. А.М. Горького (семинар Н.Н. Сидоренко). В 1984 году принят в Союз писателей СССР. Автор тринадцати книг стихов, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Набережных Челнах. Живёт в Набережных Челнах. Лауреат литературных премий имени Г.Р. Державина, Марины Цветаевой и других. В 2018 году награждён дипломом Золотого лауреата Международного литературного конкурса в Германии «Лучшая книга года» за книгу избранной лирики «Дальние луга» (издательство «Маматов», Санкт-Петербург, серия «Библиотека российской поэзии», 2017). За эту же книгу получил «Серебряного витязя» на Международном Славянском литературном форуме «Золотой витязь» в 2018 году. Заслуженный деятель искусств республики Татарстан, Почётный гражданин города Набережные Челны.

Вдруг вспомнится перед сном,
И сердцу светлее станет,
Как женщина за окном
Мальчишку к себе поманит.
И властной была рука.
Мальчишке пора приспела.
А женщина как река,
Не знающая предела.
И ласки её волна,
Открыв в небеса течение,
Поднимет его со дна,
Иное откроет зренье.
Недаром моя строка
Сказать лишь о том хотела,
Что женщина как река,
Не знающая предела...

Зло мировое на прицел
Берёт с рождения поэта –
Покуда жив, покуда цел,
Покуда песня не допета...
Пусть сатана наметил срок,
Всей чёрной магией владея,
Но кто-то взял да уберёт,
Сместив прицел у лиходея.
Народ, отчизна – не заслон.
Душа поэта безответна.
И только ангел, только он
Беду отводит незаметно.
Но... Пушкин, Лермонтов! Вопрос:
Иль демон ангела сильнее?

Распят за истину Христос.
Бог есть любовь. Поэты – с нею...

СКЛАДЫВАЯ ПОЛЕННИЦУ

Копая землю в огороде,
Дрова таскаю по двору.
В родном селе. В родном народе.
Я здесь родился. Здесь умру.
Семья со мною. Всяк при деле.
Жена – заправский агроном.
Скворцы давно уж прилетели.
И чисто вымыт к Пасхе дом.
Жизнь удалась. И – право слово –
Охота лет до ста дожить...
Вот и поленница готова.
Пора и баньку затопить.

...И пощады не будет тебе...

Юрий Кузнецов

Вдруг потянешься к шелесту, всплеску,
Шуму, шороху трав на лугу,
Через поле свернёшь к перелеску
И к реке угодишь на бегу.
Остановишься в бешеной гонке:
Торопился всю жизнь, а куда?
Здесь, от бешеной гонки в сторонке, –
Хлеб насущный, живая вода!
На реке, на лугу, в перелеске
Жизнь течёт по-другому, не так!
В этом шелесте, шорохе, всплеске
Ты давно посторонний... Чужак!
И лягушка тебе не царевна,
И кукушка тебе не указ.
И крестьянский, родительский, древний
Зов из памяти – всё не про нас!
Блудный сын! Ничего ты не значишь,
Прозревая в напрасной мольбе...

Ты в траву упадёшь и заплачешь,
И пощады не будет тебе...

ПОКРОВ

Ещё не всё покрыто снегом –
Видны у речки камыши.
А меж тобой и низким небом
Во всей округе – ни души.
И в эту редкую минуту
Воспоминаний и молитв
Душа, оставшись без приюта,
О невозвратном заболит.
Но рано утром сквозь утраты
Падёт на землю снегопад.
Не будет туч. Все будут рады.
И ты со всеми будешь рад.
Укрыт камыш. Светлеют лица.
Смотри же, грустный человек,
Как на следы твои ложится
Чистейший снег...

ЗИМНИЙ НИКОЛА

Вышел из храма. Скрипнула дверь
Вдруг за спиной.
Отче Никола, что же теперь
Будет со мной?
Зимние птицы над головой
Низко летят.
Ты на иконе был как живой,
Светел и свят.
Лучше меня бы, а не жену
Боже прибрал.
– Не опускайся, смертный, ко дну, –
Ты мне сказал. –
Всякий идущий вслед за Христом
Много терпел.
Время не лечит. Быть под крестом –
Тяжкий удел.
– Грешнику дерзость, Светлый, прости,
Я лишь о том –
Лучше младенцу с мамой расти,
Чем с мужиком.
– Маму родную я не верну –
Бог её взял...
На прихожанку взглядом одну
Вдруг указал...

Время не лечит, время летит
Птицы быстрее.
Сын, мой наследник, между стоит
Двух матерей.
Тридцатилетний. Рядом со мной –
Чистый родник,
К маме небесной, к маме земной
Сердцем приник...

И пусть я не стал знаменитым –
Поэзия стала судьбой.
Есенин меня как магнитом
Незримо тянул за собой.
Простишь ли, Сергей Александрыч,
Что я слишком долго живу?..
Насытись дарами Массандры,
По Чёрному морю плыву.
Под чутким крестьянским приглядом
Качаюсь на зыбке морей.
Вдали Константиново – рядом
С пропавшей Орловкой моей...
В столицах меня не поймали.
Увидел, вернувшись едва:
Орловку под город сломали,
Но речка покуда жива.
Я дом возле речки поставил,
И встала на место душа.
И как бы чужак ни картавил
По «ящичку» – жизнь хороша...
По вере языческой, древней,
Которая трижды права, –
Россия вернётся в деревню
И будет навеки права.
А коль не вернётся – ну что же?
И нам пропадать не впервой –
Останется, Господи Боже,
Лишь песней твоей ножевой!

Устав от трудов и учений,
Учениям всем вопреки,
Однажды на зорьке вечерней
Дойдёшь до великой реки.

Покажется, будто бы Волга
Течёт неизвестно куда
И там пропадает надолго,
А может быть, и навсегда.

У берега, как у порога,
Присядешь на самом краю.
Река – это в небо дорога
Сквозь каждую строчку твою.

От всей суеты быстротечной,
Оставив в сторонке суму,
Плыви вместе с Волгою в вечность –
К Немцу!

*Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу...*

Юрий Левитанский

Вот и жизнь свечкою догорает
Там, где я родился, где живу.
Родину никто не выбирает.
Родина даётся по родству.
Память держит восемь поколений.
Род крестьянский, древний – соль земли.
Перед ним я встану на колени:
Иль казнить, иль миловать вели!
Вслед за всеми в ту же землю лягу –
Пусть она, родимая, цветёт!
Сын растёт. Войне или ГУЛАГу
Не срубить под корень русский род.

Когда появится другая
И будет долгой ваша ночь,
Ты будешь жить, преодолая
Всё, что не в силах превазможь.
Жизнь не обходится без грусти,
Иначе – вздор, иначе – ложь.
Любовь былая не отпустит
Тебя, покуда ты живёшь.
Не жги весь мир печальным взглядом
И помни, что сказал поэт:
Любовь и смерть – навеки рядом.
И ночь темна. Но ярк свет...

Сроднись с другою! Боже правый
Благословит в заветный час:
На самой дальней переправе
Любовь былая встретит вас.
В те – запредельные – палаты
Любимый сын проводит к ней.
Не отвергайте боль утраты –
И смерти станете сильней...



**Алексей
СОЛОНИЦЫН**

СЛЫШИШЬ, ШУМИТ ДОЖДЬ

Повесть о поэте из провинции

«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас».

(Послание апостола Павла к Колоссянам, глава 1, ст. 24)

*Целый день природа изнывала,
Солнце жгло, живое не щадя.
Людям нужно до смешного мало –
Тень, прохлада, шорохи дождя.*

(Иеромонах Роман (Матюшин))

Вступление

ЗАЛОЖНИКИ ЭФИРА

Эту книгу я посвящаю тем, кого особенно люблю – поэтам русской провинции. Путь их, талантливых, чутких сердец, с душой ранимой и вечно устремлённой к познанию мира, тайнам творчества и, в конечном счете, Богу, лежит через боль и радость, муки и страдания. Но как бы ни были тяжелы испытания, лучшие из моих героев никогда не предавали любимых, ради них шли на свою Голгофу, неся свой Крест до конца жизни.

-
- Алексей Алексеевич Солоницын – писатель, кинодраматург, родился в 1938 году в г. Богородске Горьковской области. Окончил факультет журналистики Уральского университета в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1960 году, много ездил по стране, работал в газетах Киргизии, Латвии, на телевидении, в кино. С 1973 года живёт в Самаре. С 1972 года – член Союза писателей России, с 1984-го – член Союза кинематографистов России. За 55 лет творческой деятельности в Москве, Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Рязани и других городах России и зарубежья издано, включая переиздания, более пятидесяти книг писателя. По его сценариям снято более сорока документальных фильмов. Дипломант Патриаршей литературной премии св. Кирилла и Мефодия 2012 года, лауреат первых всероссийских литературных премий им. Александра Невского (С.-Петербург), Ивана Ильина (Екатеринбург), Серафима Саровского (Нижний Новгород), Международного кинофестиваля «Золотой витязь» (Москва).

И, наоборот, те, кто предавал, тот неизбежно шёл к печальному концу, хотя и добивался успеха, признания, наград, денег.

Герои этой книги – люди творческого труда. Они работают там, где их видит народ – на телевидении. А в этой ежедневной молотилке душ, амбиций, желаний славы любой ценой – разве возможно сберечь себя, не упасть, не продаться мамоне?

Мой герой Александр Неделин попадает в самую гущу этих испытаний. Он вынужден заниматься расследованием убийства ради спасения своей любимой. И на этом пути ему помогает не опытный следователь с фактами в руках, казалось бы, неопровержимыми, а творческая интуиция, те заповедные нити души, которые и открывают ему путь к истине.

Здесь автор ставит проблему общую, философскую и литературную одновременно, утверждая, что так называемая *другая реальность*, которую создаёт писатель, часто становится истиной.

Изобретатель электронной телевизионной системы, «отец телевидения» Владимир Козьмич Зворыкин («наш подарок Америке», как его называли) на вопрос, какая главная деталь телевизора, отвечал: кнопка выключения. И ещё этот наш русский гений сказал: «Я подарил людям чудо, а они сделали из него чудовище».

Всё так, но разве телевидение не даёт нам и образцы подлинного творчества, когда пустеют улицы и весь народ сидит у телевизора? Разве чудо перестало существовать совсем? Мне скажут: телевидение сегодня умерло. Есть интернет и гаджеты.

Так говорили и о театре, когда появилось кино. О смерти кино, когда появилось ТВ. Но живы и те, и другие. Всё дело в людях, в их таланте.

И об этом говорит моя повесть – о превратностях творчества, преодолении капканов, духовной крепости тех, кто стал заложником эфира.

У повести детективный сюжет – в основе его лежит событие, которое действительно произошло в жизни, в провинциальном городе, который у меня, как и прежде, называется Кручинском. Но событие это, конечно, носит чисто литературный характер, а не фактологический. Цитирую я строки из стихов провинциальных поэтов, в том числе и наших, самарских, ушедших от нас и ныне живущих. Это поэты, признанные и непризнанные, но одинаково талантливые, яркие, самобытные. А скольких мне ещё хотелось бы процитировать – тех, кого я знал и знаю, и так же, как и прежде, творчество которых ценю и люблю. Но законы жанра не позволяют упомянуть всех. И поэтому, чтобы не было ненужных обид, я старался создать обобщённый, типический образ провинциального поэта.

В конце повести полностью приведены стихи тех поэтов, строфы которых цитируются в повести. Это сделано для того, чтобы все любители поэзии не шарили по интернету, а в моей книге прочли стихи знакомые и незнакомые, забытые и только сейчас узнаваемые.

Решил я поместить в эту книгу несколько лучших, на мой взгляд, своих стихотворений. Ибо вряд ли вы найдёте прозаика, который не писал бы и стихи. У меня они писались редко – в высшие подъёмы духовных сил. А лирическая интонация присутствует во всех моих книгах.

И последнее.

Если, читая повесть, мои любимые авторы, ныне живущие, будут узнавать себя и говорить: «Да, это о нас, так могло быть», – я буду считать, что задачу свою выполнил.

Поэтам русской провинции посвящается

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «Я РАНЕН В МОЗГ»^{1*}

Не люблю книги, которые называются исповедями. В них как будто говорится о сокровенном, главном, что было в жизни автора. Вроде он пишет в назидание потомкам, чтобы они не повторяли его ошибок. А на самом деле всё это пишется из тщеславия для того, чтобы привлечь внимание к себе любимому, выставить себя пусть и в самом постыдном виде, но всё же прославиться.

Помню, ещё студентом-первокурсником я прочёл «Исповедь» Руссо и пришёл в ужас, узнав, как он одного за другим оставлял своих детей белошвейкам, ни капельки не сожалея о своих преступлениях, а оправдывая их, рассуждая, что иначе он просто не мог поступить, иначе не выполнил бы своё высокое предназначение. И всё же я читал и другие исповеди, и в прозе, и в стихах, ужасался, но читал, пока наконец не опомнился.

Конечно, есть разные исповеди, но я никогда не думал, что сам докачусь до того, что начну писать про себя, тоже уподоблюсь тщеславным писателям, жаждущим прославиться.

В оправдание скажу лишь, что мне сейчас не семнадцать, а сорок семь, и я уже прочёл иную «Исповедь» – Блаженного Августина, и потому есть надежда, что эти строки, надеюсь, последние в моей жизни, будут правильно поняты если не всеми моими читателями, то хотя бы некоторыми из них. Ещё в оправдание себе, своим заблуждениям, падениям и грехам вспомню, что написал мой великий тёзка в письме другу своему Петру Вяземскому, поэту, историку, публицисту и просто замечательному человеку. Пётр Андреевич сокрушался, что потеряны записки Байрона, а Пушкин отвечает ему так:

«Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? чёрт с ними! слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, неволью увлечённый восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то махая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо – а там злорадия и клеветы снова бы торжествовали.»²

И закачивает так, что слова его я воспринял как завет.

И как завет передаю своему сыну:

«Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы – иначе. – Писать свои Метойгес заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая.»

Постараюсь преодолеть эту «физическую невозможность» и рассказать о том, что я пережил и выстрадал.

Итак, начну с того майского утра, когда я вышел из сосновой рощи к пристани нашей Преображенки, села, расположенного на правом берегу Волги, почти напротив моего родного города Кручинска. У пристани уже

¹ В. Шекспир, «Король Лир».

² Пушкин А. С. Письмо Вяземскому П. А., вторая половина ноября 1825 г., Михайловское // Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. – М.: Худож. лит., 1982. – Т. 1.

толпился народ в ожидании первого в тот день речного трамвайчика, маломерного теплоходика «Москвич» – так он у нас называется.

Я встал в очередь, зная наверняка, что попаду на трамвайчик, потому что пришёл пораньше. Но приходилось ждать, когда откроет деревянную калитку и пустит нас на дебаркадер её хозяин – хромым Степаныч, по прозвищу Хрыч. Жена его, толстая и властная Зинаида Андреевна, Хрычёвка, продавала билеты на самом дебаркадере, кричала мужу, когда билеты кончались, захлопывая окошечко кассы. Никакие уговоры дачников продать ещё билетик, с унижениями и даже отчаянными воплями, на неё не действовали. Так же поступал и Хрыч, уйдя на противоположную сторону дебаркадера, где ему, вместе с подчинённым матросом, надлежало принять швартовы и подать трап на палубу «Москвича». Несмотря на то, что к деревянной калитке выстроилась чинная очередь, когда Хрыч открывал калитку, народ со всех ног устремлялся по мосткам к дебаркадере, и никакие угрозы Хрыча не действовали. Люди неслись к кассе так, будто от этого зависела их жизнь. Местным, деревенским, надо было занять место в салоне трамвайчика, разместить свои узлы и корзины. Не отставали от них и бойкие дачницы, стремясь занять место получше.

Пришлось спешить и мне, чтобы не быть сбитым с ног. Я устроился на верхней палубе, у перил, повернувшись боком к двум дачникам, которые тоже предпочли стоять на свежем воздухе, а не в салоне трамвайчика.

Взбурлила вода за кормой «Москвича», он отчалил от пристани, вышел на открытую воду.

– Опять будет жара, – сказал один из моих соседей.

– Зб обещали, – отозвался второй.

– Да, если не врут. По-моему, днём все сорок.

– Похоже. Гляди, Виктор Иваныч, какой ужас!

«Москвич» шёл мимо всплывших вверх брюхом рыб – я разглядел не только плотву, но и краснопёрок, судаков. Мёртвые рыбы попадались уже не поодиночке, но целыми островками. Щука, не хотевшая умирать, поворачивалась, отчаянно дёргала хвостом.

Я смотрел на неё как заворожённый. Но скоро она пропала из вида – наш трамвайчик шёл довольно бойко.

– Да что это такое, Виктор Иваныч? Объясните.

Этот Виктор Иванович, вероятно, какой-то авторитет – среди дачников были и учёные мужи из наших институтов и университета – ответил:

– Рыба задыхается. Вероятно, были какие-то вредоносные сбросы.

– Но как это возможно? – наседал собеседник Виктора Ивановича.

Мы шли уже мимо второго островка мёртвой рыбы.

– А так, – вступил в разговор ещё один человек, стоявший чуть поодаль, – у нас же теперь свобода! Заводы-то теперь частные! Вот и воротят что хотят!

Я повернулся лицом к говорившему. Этот человек был из местных, деревенский мужик в рубашке с закатанными рукавами, с лицом загорелым, волевым.

– Чего уставился? – Он смотрел на меня в упор. – Я правду говорю или нет?

– Конечно, правду, – ответил я. – Но такое первый раз вижу.

– А я не первый! Мать иху... этих хозяйчиков...

Мёртвые рыбы остались позади, но потрясение моего соседа не проходило. Впрочем, как и моё.

Обсуждать увиденное учёный Виктор Иванович не захотел, отнекивался общими фразами. Местный крестьянин тоже не стал ничего говорить, отвернувшись от меня.

Так мы и шли по матушке по Волге чуть больше часа, пока «Москвич» не причалил к самой дальней пристани Кручинска.

От речного вокзала мне предстояло ехать троллейбусом, потом автобусом на другой конец города, к больнице, в которую попала моя бывшая жена Александра. Впрочем, какая же бывшая, если мы не разведены, хотя живём порознь. Чуть позже я всё объясню.

Уже припекало, когда я добрался до этой старой, ещё в тридцатых годах построенной больницы. Её создали для рабочих того самого знаменитого когда-то машиностроительного завода, который потом славно поработал на оборонку. Но теперь завод едва дышал, больница, прежде известная в городе, обветшала, от былой славы её остались только торжественные колонны у входа да палаты с высокими потолками. Потолки, правда, посерели, трещины проступили во многих углах. Но зато гипсовая лепнина во многих палатах уцелела. Вот в эту больницу и увезли мою Александру. Инсульт ударил её в выходные праздничные дни, поэтому увезли её, куда увозят обычных несчастных, ибо в приличных больницах в праздничные дни нет приёма. Вернее, есть, но за денёжки.

Мне вчера позвонила подруга Саши, некая Вика, она же Виктория Смородина, наша местная телезвезда. Инсульт – болезнь внезапная, надо действовать как можно быстрее, вот Вика и её гости сразу и увезли Сашу туда, где было место, где могут оказать быструю помощь даже в праздничные дни.

Впрочем, какая это помощь, я скоро узнал.

Дежурный врач, пожилая женщина с измученным, неприступным лицом, коротко бросила:

– Инсульт.

К Саше меня не пустили, я бесприютно то сидел в коридорчике, то пытался всё же поговорить с дежурной сестрой, но и эта женщина, более сдержанная, чем врач, тоже урезонивала меня, говоря, что определить состояние Саши смогут только утром после обхода, когда сделает назначения на анализы лечащий врач.

Скоро меня выгнали и из коридорчика, так как двери больницы закрыли, мне пришлось куковать на лавочке в скверике перед больницей.

Я обдумывал, что делать дальше. Прежде всего позвонил матери Саши, Веронике Игоревне. Ответила Авдотья Михайловна, она же Дуня, домработница, не сразу уразумев, зачем нужна мне хозяйка.

«На дворе ночь, нормальные люди спят», – Дуня строга даже со мной, поскольку считает Веронику Игоревну своей спасительницей. Моя теща – бизнесвумен, ведёт бухгалтерию у уважаемого, представительного мужа Вадима Сергеевича. Он второй по счёту муж в её довольно сложной биографии.

Оказалось, что хозяйева Дуни, или Дуси, как она просила себя называть, сейчас в Карловых Варах, лечатся.

Максим, сводный брат Саши, вместе с женой Дашей тоже за границей, в Милане, где сейчас проходит Первенство Европы по волейболу, ведь они члены сборной, он в мужской, она в женской, Александр должен это знать.

Итак, я подвёл итог: кроме меня, у Саши никого из родни и близких не оказалось. Вика и её телебратия – люди при делах, к тому же Саша уже не в их команде – уволилась почти полгода назад, уехав в Москву с любовником, который обещал ей золотые горы. Но вот она возвратилась из столицы

к разбитому корыту, то есть к больничной койке в клинической больнице, до предела набитой инсультниками и инфарктниками, а также другими страдальцами, лежащими в палатах на трёх этажах этого здания с колоннами, белеющими в темноте истлевающей майской ночи.

Хорошо, что я прихватил с собой куртку, но и она уже не согревала – к утру я замёрз и, чтобы немного согреться, стал ходить по скверу около больницы.

Утро наступило, и я решил, что теперь дождусь, когда смогу поговорить с врачом, который будет лечить Сашу. Но не тут-то было. Оказалось, что врачи работают по сменам, кого конкретно закрепят за вновь прибывшими, пока неизвестно. Саше сделали необходимые уколы, дали положенные лекарства, вот и всё. Это мне объяснила врач с неприступным лицом – я всё-таки смог остановить её на минуту. Видя мою неприкаянность, сказала:

– Да вы слишком-то не переживайте. Бывает, что ничего страшного и нет. Ну, полежит месяц-другой, и встанет. Может, всё обойдётся.

– А может, и нет?

– Может. Но сейчас никто вам ничего больше не скажет, поймите. Лучше всего пойти домой, поспать. И прийти в часы приёма – лучше всего завтра.

Она торопливо ушла, но я всё-таки остался в коридоре, между койками с лежащими на них больными. Потом подошёл к столу, за которым суетились у шкафа с препаратами сестры, которым я явно мешал, и они указали мне на дверь.

Опять я вернулся на свою лавочку.

Потом сел в автобус, поехал к центру города, сам не зная, куда и зачем. Сколько времени так промаялся, не знаю, пока не оказался у двери с надписью фирмы, к которой инстинктивно направлялся. Мысль о договоре, который мне предлагали, мелькала у меня в голове, но сказать, что я осознанно думал бы об этом, нельзя. Но вот же я стою у дверей этой фирмы, значит, надо входить, просто так стоять здесь неловко.

Две модные девицы вопросительно посмотрели на меня, когда я вошёл в приёмную этого «офиса». Они сидели напротив друг друга за столами перед раскрытыми ноутбуками.

– Мне Бориса Яковлевича, – сказал я.

– А по какому вопросу?

– Мы говорили о договоре. Я Александр Неделин.

Видимо, моя фамилия им ничего не сказала, потому что они, переглянувшись, так же вопросительно продолжали смотреть на меня.

Потом одна из них, в очочках, в меру накрашенная, в меру в открытой на груди блузочке, сказала:

– Борис Яковлевич пока не пришёл.

– Я подожду. – И сел на диванчик, который стоял около двери.

Этот Борис Яковлевич, он же Боря Мазуркин, бывший администратором нашего драмтеатра, которого я знал, потому что сделал не одну передачу, в которой приходилось решать и с ним организационные вопросы, в роковые девяностые как-то быстро отважился создать собственную фирмочку, которая теперь превратилась уже в фирму с барышнями, офисом, довольно солидной рекламой, которую он по знакомству размещал на телевидении, то и дело затевая один проект за другим – и довольно успешно.

И вот теперь Борис Яковлевич позвонил мне, предлагая написать сценарий к пятилетию его фирмы.

Я сказал, что подумаю, сразу решив отбиться от него, но он настаивал, обещал позвонить ещё, намекая, конечно, на хороший гонорар.

И вот я сижу в его приёмной, разглядывая увесистый кассовый аппарат, который стоит на тумбочке как раритет, матово отблёскивая своими медными боками, украшая фирму Мазуркина таким редким экземпляром банковской индустрии прошлых лет.

Ожидание затягивалось, Мазуркина всё не было. Девицы перешёптывались, одна из них, что постарше, сказала:

– Может, зайдёте в другой раз? Борис Яковлевич, наверное, где-то по срочным делам.

Сам не зная почему, я сказал смиренно, что ничего, подожду. Зачем так сказал, да ещё таким голосом, хриплым, усталым, Бог весть. Ведь ждал почему-то уже почти час.

И вот дверь распахнулась, стремительно вошёл сам начальник. Сразу же увидел меня, всполохнулся, развёл руками, бросился ко мне с извинениями. Потом напустился на барышень:

– Что же не позвонили мне? Это же Неделин! Господи, неграмотность вас погубит! Что же вы, даже кофе не предложите такому гостю! Быстро!

Девицы засуетились, а Боря открыл ключом дверь своего кабинета, пропустив меня вперёд, усадив в мягкое кресло перед низеньким столиком со стеклянной столешницей.

Всё в его офисе было современно, модно, вплоть до картин на стене в виде кругов и замысловатых линий.

Когда поговорили о сценарии, всё обсудив, я, пересилив себя, сказал:

– Боря, у меня форс-мажор. Саша – в больнице.

– Да ты что?

– Вот так. Похоже, insult.

– С ума сойти!

Боря действительно был поражён. В лёгком белом пиджачке с короткими рукавами, в цветной рубашечке под ним с воротником апаши, он смотрел на меня карими маслянистыми глазами, в которых было неподдельное участие. Но что-то в нём – ухоженном, симпатичном, таком приветливом – настораживало меня. Мне даже показалось, что он уже всё знал про Сашу, хотя шёл всего второй день её болезни.

Но всё-таки я решил:

– Боря, нужны деньги. Она лежит в общей палате, там шесть человек. Условия ужасные. Надо её в отдельную палату, а это стоит недёшево.

Эти сведения я получил от дежурной сестры в то памятное утро.

– Да я знаю, – Боря как-то сразу успокоился. – Я помогу, конечно.

Но знаешь...

– Что?

– У нас сейчас трудные времена... Я вот с утра бегал к этому... В трансгаз... Тоже просил! И не их деньги, а свои, заработанные! И знаешь, что он ответил? Подожди, говорит, Боренька, подожди...

Одна из барышень принесла кофе в изящных чашечках, на блюдечках тоже миниатюрных, изящных.

– Ты прости, Александр, но сейчас могу дать только... Вот тут у меня немного...

И он достал из своего лёгкого белого пиджачка портмоне, вынул оттуда одну красненькую купюру в пять тысяч и положил рядом с моей кофейной чашечкой на стол.

Что мне оставалось делать? Взять эту подачку и встать.

– Ты пойми меня правильно, Александр. Когда ты принесёшь сценарий, тогда я из-под земли деньги достану. Рассчитаемся по полной, как напишем в договоре... Согласен?

– Договорились.
– Саше не забудь от меня поклон передать. У неё всё будет в порядке, она сильная, ты сам знаешь.
Я кивнул. Он протянул руку, и я вынужден был пожать её.
– И ты держись, Александр. А то вон какой, усталый очень... Ты, случаем, не заболел сам-то?
– Заболел, Боря. Я ранен в мозг.
– А, Гамлет! Помню-помню.
– Нет, Боря. Это «Король Лир». Пока.
Я вышел на шумную улицу, одну из главных в Кручинске. Уже пекло вовсю. Даже кое-где плавился асфальт. Жара.
Куда же мне податься?
Пять тысяч по нашим временам – смешные деньги.
Я ничего лучше не придумал, как добраться до речного вокзала и успеть сесть на речной трамвайчик, который опять шёл по матушке по Волге.
И опять нам попадались мёртвые рыбы, всплывшие вверх брюхом.

ГЛАВА ВТОРАЯ. «ЛЮБЛЮ ГРОЗУ В НАЧАЛЕ МАЯ»³

Я позвонил в эти самые Карловы Вары по номеру, который мне дала служанка Дуня, она же Авдотья Михайловна. Не буду пересказывать наш разговор с Вероникой Игоревной, матерью Саши. Наши отношения с самого начала были взаимно недружественными, мягко говоря. А со временем превратились с её стороны в откровенно враждебные, с моей – холодно сдержанные, до той поры, пока мы не расстались с Сашей. Потом я вообще перестал с ней общаться, даже по телефону, кратко отвечая на её вопросы, когда дело касалось моего пасынка Миши, Медвежонка, или каких-либо имущественных проблем.

Всё же я не думал, как бы плохо к ней ни относился, что она, поохав и поахав, вроде бы искренне ужаснувшись, скажет, что прилететь сейчас не сможет. У неё не закончилось лечение, которое, как сказали врачи, ей крайне необходимо. Да и Вадиму Сергеевичу тоже необходимо лечиться, хотя в меньшей степени. Когда она сказала, что их путёвки уже полностью оплачены, мне захотелось нажать на кнопку выключения моего мобильного, но я сдержался. Она продолжала выяснять, в каком состоянии сейчас Саша, что говорят врачи и что надо немедленно сделать. Пять тысяч Бори Мазуркина таяли, бессмысленный разговор продолжался, и просить у неё денег было уже невозможно и даже постыдно. Она со слезами в голосе сказала, что прилетит, как только «вырвется из рук врачей», а пока очень надеется на меня.

Можно было ещё позвонить в Милан брату Саши, Максиму, но этот вариант оказался куда более сложным, так как номера телефона у меня не имелось, и выяснять его предстояло через Москву.

Вот с такими итогами в поиске денег и с грузом, давящим мне на сердце в прямом и переносном смысле, я снова оказался в коридоре больницы у стойки дежурной сестры. Ей оказалась не та, с которой я хоть маленький контакт, но всё же наладил, а другая девушка, похоже, студентка мединститута, милостивая, в стерильно белой шапочке и таком же халатике. Она как-

³ Строка из стихотворения Ф. Тютчева.

то внимательно посмотрела на меня, когда я назвал свою фамилию, и неожиданно чуть смущённо улыбнулась.

– Палата 66. Только подождите минутку, я всё же предупрежу, что к ним посетитель. Палата женская, вы же понимаете.

Я тоже улыбнулся, кивнул, хотя ждал, что мне опять дадут от ворот поворот.

– Лечащий врач принимает сегодня до обеда. Я вам советую к нему пойти, а потом в палату, хорошо?

Она опять улыбнулась, ну прямо как на моём выступлении после встречи с читателями. Оказалось, что я угадал – Света, как звали дежурную сестру – узнала меня. Она видела меня по телеку, была на моём выступлении, читала мои стихи. Об этом я узнал позже, когда с ней ближе познакомился.

После беседы с врачом я наконец увидел мою Сашу.

Она лежала на койке у стены, в дальней части палаты. Две койки, дополнительно поставленные посередине комнаты, оставляли лишь небольшой проход, и мне пришлось чуть ли не боком проходить к койке Саши. Больные женщины разглядывали меня, пока я пробирался к Саше, пока ставил на тумбочку пакет с фруктами и соками, пока нашёл стул и поставил его к койке Саши, усаживаясь и стараясь как можно спокойнее смотреть на неё. Как будто я пришёл не в палату, где лежат тяжёлобольные, а в какую-то замечательную комнату отдыха, которые наверняка есть в этих самых Карловых Варах.

Труднее всего оказалось начать разговор, но я всё-таки начал:

– Эта больница похожа, знаешь, на Дворец культуры или даже на театр. Так строили все образцовые общественные здания, которые должны были показывать рост нашего благосостояния и культуры.

Она pokrивила губы – бледные, непривычно чуть опущенные с левого угла вниз. На лице её, тоже непривычно белом, теми же оставались, что и прежде, глаза – они с нескрываемым удивлением, смешанным со смущением, смотрели прямо на меня. Волосы, без привычной чёлки, гладко зачёсанные назад, открывали большой лоб. На нём нет морщин, как и на щеках, и лицо, хотя и больное, всё же родное, и скулы, и нос с горбинкой, о котором я столько раз говорил и писал, что он «ахматовский», аристократический – всё сейчас я увидел теми же глазами, которыми смотрел на неё впервые, на той памятной встрече, на которую меня пригласило руководство нашего телевидения и когда я в неё без памяти влюбился.

– Знаешь, Саш, этот архитектурный стиль наши острословы назвали «сталинский вампир», помнишь? Вот ты улыбнулась – и это хорошо. Твой лечащий врач кое-что рассказал мне. Ничего особо страшного нет, обошлось. Ну, инсульт, но он же разный бывает. У тебя как раз тот, что самый безопасный для дальнейшей жизни. Называется он ишемический – то есть надо будет восстанавливать двигательные органы – я правильно формулирую? Я внимательно и подробно обо всём расспросил. И, конечно, сегодня же прочту, всё узнаю.

Я привирал, даже врал, если сказать честно. Положение её оказалось гораздо более тяжёлым. Но не катастрофическим, слава Богу.

– Ты... от-т-т-куда ... уз-з-з-з-з-нал? – с трудом выговорила она.

Вот это да.

Значит, речь поражена слишком сильно. И можно ли её восстановить? Этот лечащий врач, очень серьёзный человек, лет примерно шестидесяти, с редкой шевелюрой, если так можно назвать его плешивую голову, почти ничего не сказал мне о её речи. А ведь без неё она теперь никто. Речь для

телезвезды – самое главное, вместе с умением вести себя в кадре, конечно. И внешностью. Врач говорил о «сердечно-сосудистой системе», о других важнейших «органах жизнедеятельности человека» и всё сыпал такими же «научными» терминами, говорил тем бюрократическим языком, который врачи считают самым правильным. А по мне так безобразным – потому что при болезнях, пусть даже самых тяжёлых, важнее всего сказать простые, но тёплые, то есть человеческие слова, которые наши врачи почему-то забывают, когда говорят нам о том, что надо делать, как жить, когда хватил удар и наступила совершенно новая полоса нашей жизни.

– Вика твоя позвонила. Меня к тебе не пускали, нельзя говорят. Видишь, только сегодня пробился. Но через сестру просил передать, что я рядом. Понимаешь, придётся меня потерпеть, потому что мама твоя с Вадимом Сергеевичем в Карловых Варах, тоже лечатся. Но Вероника Игоревна в скорости обещала прилететь. Максим с Дашей сейчас в Милане, у них чемпионат Европы, надо честь страны защищать, понятное дело. Так что одни я остался рядом с тобой.

– Ты... з-з-з-зна-ешь?

– Ну конечно, как же не знать. Ваши сороки уже по всему городу расстрещали. Ты же публичный человек, Саша. Но не беспокойся. Я тебе не буду надоедать. Тебе же нужен сейчас кто-то рядом. Нянечек тут всего две на этот отсек, если можно так назвать ваш коридор. Я узнавал. А палат сколько! Кто-то должен вас кормить, убирать за вами... Ну, вот я буду у вас вроде медбрата... Утконос. Проще – горшечник, так можно меня назвать. У вас же тут все лежащие.

– Не все, я вот уже ходячая, – сказала женщина с соседней койки. У неё были крашенные рыжие волосы, от макушки почти на четверть уже полинялые, чёрно-белые. Лицо озабоченное, взгляд неожиданно весёлый. Она давно прислушивалась к нашему разговору, но вот не утерпела, вступила в него. Уж очень ей хотелось этого. Звали её Лидой, как скоро я узнал.

– А если вы и утки за нами убирать намерены, то, может, и мою будете прихватывать? Коридор-то длинный, а туалет в самом конце.

– Помолчала бы, – оборвала бойкую Лиду женщина, лежащая на следующей от неё койке.

– А чего? Он же сам сказал! Я его за язык не тянула.

Я улыбнулся рыже-чёрно-белой Лиде.

– Не беспокойтесь, сударыня. И ваш горшочек вынесу. А пока всё же помолчите – дайте нам поговорить.

– Да пожалуйста, сударь, – последнее слово она выделила.

Но дальше говорить с Сашей оказалось как будто не о чем. По крайней мере, я как-то выдохся. Осталось обсуждать только погоду.

– На улице сейчас ужасная жара. Аномальная. Но скоро она кончится – грянет гром. Тучи уже собираются. *«Люблю грозу в начале мая»*... Всё это стихотворение мало кто знает. Помнят начало. А вот дальше... хочешь, прочту?

Она смотрела на меня растерянно и даже жалко.

Нет, уходит сейчас ни в коем случае нельзя.

– Значит, так. *«Когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом»*. Это у него гениально. В голубом небе – грохочет гром! Дальше: *«Гремят раскаты молодые, / Вот дождик брызнул, пыль летит, / Повисли перлы дождевые, / И солнце нити золотит»*.

Здесь больше всего мне нравятся «раскаты молодые». Замечательно, правда? Если согласна, просто кивни.

Она кивнула, опять криво улыбнувшись. Я продолжил с ещё большим энтузиазмом:

– *«С горы бежит поток проворный, / В лесу не молкнет птичий гам, / И гам лесной, и шум нагорный – / Всё вторит весело громам.*

Ты скажешь: ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила».

Здесь требуются пояснения, поскольку наше сплошь грамотное население с трудом понимает, кто такой Зевс, кто такая Геба и почему какой-то кубок она пролила с неба. Продолжить или я тебе уже надоел?

– Конечно, продолжайте. Очень интересно, – опять возникла Лида.

Я ждал, что скажет Саша. Может, речь её не так уж нарушена?

Она выдавила из себя:

– Но-ч-ч-нуш-ку. При-не-си. Ха-а-лат.

Я открыл тумбочку, посмотрел, что привезла Вика. Взял сумочку, достал из неё ключ от квартиры. Когда-то нашей, теперь её.

Почему-то в этот момент у меня перехватило дыхание.

Но я справился, выпрямился, закрыв дверцу тумбочки.

– Геба – это дочь Зевса, главного из греческих богов, – я повернулся лицом к Лиде. – Её должность была разливать вино и подносить гостям. Вот она и пролила кубок. И засмеялась, баловница. Видимо, такой и ты была.

Я снова повернулся к Саше.

– Всё принесу, что нужно. Ключ взял. Приду завтра. А ты пока подумай, что тебе вкусенького хочется. Я, знаешь, разбогател. Заключение приличный договор. В жизни не догадаешься, какой. Представляешь, сам Табачник вызывал меня к себе. Предложил новый проект. Я согласился и попросил аванс. Завтра всё подробно расскажу. А сейчас отдыхай. Врач сказал, что теперь самое главное для тебя – покой и хороший уход. Поняла?

Она посмотрела на меня уже не тем отчаянным взглядом. Но слёзы назревали, и я боялся, что она разревётся. А сейчас ей это во вред.

Положение спасла Лида.

– А мне шоколадку принесёшь? – спросила она. – А если винца захватишь, я его ни за что не пролью.

– Ладно. Но при одном условии. Если будешь помогать моей Саше. Ты же сказала, что ходячая.

Она весело улыбнулась:

– Замётано.

И тут за окном явственно услышалось ворчание неба.

Все насторожились и посмотрели в сторону высокого окна.

Немного спустя громыхнуло сильнее, и яркая молния прорезала высь за окном.

– Вот это да! – вырвалось у меня. – Это я накликал!

«Трах-тах!» – раздалось в ответ.

И опять полоснула молния.

Я поспешно пробрался к окну, залез на широкий подоконник и как можно плотнее закрыл форточку.

Ещё раз громыхнуло, а потом на нашу иссушенную землю и души обрушился ливень.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «ВСЁ МЕРЗОСТНО, ЧТО ВИЖУ Я ВОКРУГ»⁴

Ливень прошёл, и, когда я добрался до телестудии, вдоль тротуаров бежали журча ручьи, деревья стояли умытыми и дышалось совсем не так, как утром. Удостоверение у меня имелось, и охранник знал меня, но всё же для порядка посмотрел, не просроченное ли оно.

Кабинет генерального директора находился на втором этаже здания. В приёмной на меня глянула, оторвавшись от компьютера, важная Руфина Марковна. Взгляд её тёмных глаз из-под наимоднейших очков был предупреждающе заградительным.

– У себя? – вежливо спросил я.

– Важное совещание.

– А-а-а. Давно?

– Давно. Сегодня вы к нему не пробьётесь.

– Ну, Руфина Марковна. Я же не по пустякам... Вы же наверняка про Сашу знаете...

Взгляд из настороженного превратился в вопрошающий. Обо всех новостях «из жизни телеслужащих» она знала лучше всех и быстрее всех.

– Как она?

– Плохо. Лежит в общей палате в этой ужасной больнице машиностроителей.

Руфина Марковна бережно сняла свои замечательные очки в светло-коричневой оправе и опустила глаза, рассматривая какую-то важную бумагу – читала она всегда без очков. Потом подняла на меня взгляд, снова надев очки, и сказала:

– У нас ЧП, Александр Сергеевич. Пожалуй, более страшное, чем болезнь Колотиловой.

– К нам едет ревизор?

Она чуть усмехнулась своими ярко накрашенными губами.

– Не до шуток, Александр Сергеевич. Вы что, действительно про Ярцева ничего не знаете?

Про Андрея Ярцева, одного из лучших наших ведущих, я в тот день на самом деле ничего не знал – слишком погрузился в болезнь Саши.

– Не в курсе, Руфина Марковна. Простите за мой эгоизм.

Она кивнула понимающе, коротко сказала:

– На Ярцева заведено уголовное дело. Обвиняется в убийстве своей аспирантки. Уже второй час идёт совещание как раз по этому вопросу.

Вот это новость. Андрей, так падкий на всякие сенсационные дела, сам стал сенсацией. К тому же уголовной. Поверить в это невозможно. Чтобы такой респектабельный, популярный, благополучный...

– Да, Александр Сергеевич. Никто до сих пор поверить не хочет и не может. Но факты – упрямая вещь.

– Факты?

– Да. Скоро всё сами узнаете. Андрей Витальевич всё же ваш близкий знакомый. Коллега.

В это время дверь, обитая кожей с какой-то не пропускающей все посторонние звуки подкладкой, отворилась, и из кабинета один за другим стали выходить все наши «бугры» – все первые начальники отделов и служб.

⁴ Строка из сонета 66 В. Шекспира.

Сквозь приоткрытую дверь я увидел и солидную фигуру генерального, Семёна Львовича Табачника, который вышел из-за своего начальственного стола, провожая своих ближайших друзей-помощников.

Генеральный в открытый проём двери увидел меня – я успел занять нужную позицию.

Минуту он пристально смотрел на меня, словно обдумывая что-то, а потом неожиданно поманил меня, приглашая войти.

Начальствующий народ проходил мимо, я здоровался, некоторые, проходя, кивали, некоторые нет, я протиснулся в просторный кабинет, подошёл к Семёну Львовичу.

Он поздоровался со мной за руку.

– Садись. Надеюсь, ты в курсе?

Он выглядел не как обычно, привычной авторитарности и важности поубавилось, в глазах обозначилась некая растерянность. Но седые усы всё так же выглядели солидно-учёными, как и густая шевелюра с проседью, тоже подчёркивающая его принадлежность к интеллигентно-учёному миру.

Он у нас кандидат филологии, защитил диссертацию по Маяковскому ещё в молодости, но сейчас не любит вспоминать, что был поклонником «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи», по определению вождя. Сейчас он больше стал специалистом в вопросах политики и юриспруденции, чем поэзии.

Я понял, что спрашивает он об Андрее Ярцеве.

– Не совсем, – уклончиво ответил я.

– Все мы «не совсем», – язвительно возразил он. – Вот скажи честно, ты же теперь «глубоко верующий человек», как тебя аттестуют, веришь, что Андрей мог убить свою аспирантку?

– Я слишком мало знаю.

– Ну хорошо, я тебе поясню. Что она его любовница – факт. Беременная – факт. Хотел отделаться от неё – факт. Его видели с ней в день убийства – тоже факт. Не хотел уходить от жены – сам признался на допросе. Что ещё надо? Ну, и что скажешь после этого?

Все эти сведения обрушились на меня внезапно, как ливень, только что прошедшей. Я знал, что Андрей не прочь приударить за хорошенькими женщинами и девицами, тем более при его спортивной, привлекательной внешности, популярности. Но я знал и то, как он ценит свою жену, умницу Клару, его верную помощницу, которая и сделала его как телеведущего, известного и у нас в Кручинске, и в Москве даже – все общероссийские передачи от нас вёл именно он, Андрей Ярцев. Поэтому и приглашали его время от времени на факультет журналистики в университет, вот и появилась эта аспирантка. Кажется, я понял, о ком идёт речь...

У него двое детей, семьёй он дорожит. Но чтобы убить...

– Нет, не верю, – сказал я.

– А почему?

– Совесть не позволила бы.

– Совесть? А если эта аспирантка грозила всё обнародовать? А? Мог он пожертвовать положением, семьёй, если она его шантажировала?

– Он это сам сказал?

– Да! Признался, дурак! И что спал с ней, тоже признался! Следовательно наш, областной, дело повёл. Хотели его выручить, балбеса! Он все карты и выложил на стол! А карты-то против него и выпали, понимаешь?

Я обдумывал услышанное. Зачем он мне всё это рассказывает? Знает ли о Саше? И понял ли, зачем я к нему пришёл?

Мы молчали с минуту, время от времени поглядывая друг на друга.

– Вот что я подумал, Александр. Ты хороший человек, я тебя давно знаю. С тех ещё времён, когда твоя передача имела успех. «Писатель ведёт расследование». Я помню, очень хорошие у тебя были выпуски... А потом ты вдруг качнулся в эту сферу... религиозную. Нет, я не осуждаю! Но как-то очень уж твои передачи стали церковными... А не общеэкранными...

– Вы говорили мне об этом.

– И ты согласился! Но своего направления не изменил.

– И потому вы решили меня закрыть.

– Да не я! Рейтинг у твоих передач стал никакой. Пойми, Александр, время сейчас стало другое. Смотреть наши передачи должны наши люди, понимаешь? Иначе мы выйдем!

– Понимаю. Но вы что-то другое мне хотите сказать.

– Вот за что я тебя уважаю, Александр свет Сергеевич, так это за твой ум. Если бы Ярцеву хоть половинка твоего ума досталась! Не влип бы он в эту уголовщину!

– Вы хотите, чтобы я...

– Понимаешь, Саша, вот сейчас судили-рядили... И что? От эфира, понятно, он отстранён, подписку о невыезде у него взяли, кое-как от заключения под стражу отбив. Губернатору спасибо, на нашей стороне в трудную минуту... Вот и ты бы... Ты ведь умеешь... А?

Я понял, что он предлагает мне провести самостоятельное расследование.

– Семён Львович, сначала я должен изучить дело.

– Вот и изучай! Дело и будет наше общее... А?

– Я ничего обещать не могу. И пришёл к вам совсем по другому поводу.

– Да-да, я знаю... Такое несчастье... Конечно, мы поможем, хотя она теперь и не член нашего коллектива. Но ведь можно на тебя... Вы ведь не разведены официально?

– Нет.

– Вот и хорошо. – Он нажал кнопку под крышкой стола.

Вошла Руфина Марковна.

Он приказал вызвать главного бухгалтера, и пока та шла к нам, расспросил меня о Саше.

Я ничего о палате под номером 66 не скрыл.

Он выслушал, как-то обречённо сказал:

– Петра Петровича знаешь?

Речь он завёл о Глотове, правдолюбце по прозвищу Бармалей.

– Он в районной больнице лежал. Рассказал, что пока лежал, ловил тараканов и складывал их в пакетик. И когда его выписали, он этот пакетик с тараканами отнёс главному врачу больницы. И пригрозил сделать разоблачительный сюжет.

Я помимо воли рассмеялся.

– Это ещё не всё. Главврач пожал руку Петру Петровичу и поблагодарил его сердечно. Сказал, что после такого сюжета, может быть, сделают ремонт в его больнице.

Он не улыбнулся даже – всё рассказал с очень серьёзным видом. И оттого его рассказ получился ещё более смешным.

Пришла главбух, они пошептались, главбух кивала своей мудрой головой. Потом повернула своё бухгалтерское лицо ко мне и сказала:

– Идёмте.

Семён Львович сказал на прощанье:

– Держи меня в курсе. Тут мой сотовый. – И протянул мне свою визитку с номером телефона.

В бухгалтерии я расписался в ведомости, успев в неё посмотреть: мне было выписано десять тысяч, то есть в два раза больше, чем подачка Бори Мазуркина. Тут тоже мне выдали аванс под передачу, которая была у меня пока лишь в голове.

Но всё-таки, какие-никакие, а деньги!

Ах ты, туды-растуды! Но всё равно мне надо вдвое больше, чтобы заплатить за неделю лечения Саши в отдельной палате. Этот тариф обнародовала дежурная медсестра, которая узнала меня.

Я шёл по коридору студии, раздумывая, что же делать дальше.

Пришло обеденное время, и я вспомнил, что не ел со вчерашнего дня, перекусив лишь вечером какой-то сухой булкой и запив её холодным чаем – сил готовить себе что-то на ужин не было никаких.

Студийная столовая была довольно приличной. Едва я вошёл в неё, как увидел Вику с женщинами из их редакции. Она замахала мне рукой, я кивнул в ответ. Набрал себе еды, уселся за их столик.

– Ну, как она?

Я пожал плечами.

– Ладно, поешь. И слушай, что я скажу.

Я принялся есть, а Вика вводила меня в курс дела. Сашу переведут в областной кардиоцентр, там врачи самые лучшие у нас. Ей поможет одна знакомая, переговоры уже идут. Лечение продлится примерно две недели в стационаре, потом надо его продолжить дома. Перевозить её сейчас нельзя, опасно, неделю придётся вылежать в больнице машиностроителей, так ей твёрдо сказали.

Я слушал, а сам раздумывал, у кого можно занять денег. Лежать она будет в той же «вампиурской» больнице, но всё равно надо её в отдельную палату. Так, у кого же стрельнуть... Я окинул взглядом жующих и закусывающих. Примерно таким же взглядом окидывали мы и студенческую столовую, решая, у кого же можно одолжиться. На последнем курсе докатились даже до того, что пошли, помню, втроём, к нашему профессору по античной литературе, Батаеву Виктору Викторовичу, к которому даже с неким восторгом относились. Пришли незваные, зимним вечером, и он очень удивился, открыв нам дверь. Когда уселись у него в кабинете, он не стал спрашивать, «чем обязан» и прочее, а по нашим оголожалым лицам сразу догадался о цели нашего прихода. Заговорил про литературу, конечно, расспрашивая, что мы читаем сейчас и не забыли ли мы за текущей модной словесностью про серьёзную литературу, к коей он относил не только свою любимую античную, но и русскую. Вообще он был энциклопедист, за что мы его и обожали. Его жена, под стать мужу, тоже знаток литературы, его верная помощница, принесла нам не только чай, но и закуски, и мы, размлев с мороза, закусив, оттаяв душой, конечно же, не стали просить у него в долг, а я, совсем отмякнув, даже решил прочесть свои стихи, когда Вик Вик (так мы его звали) попросил меня об этом. Стихи мои он одобрил, сделал несколько толковых замечаний. Потом зашёл разговор о переводах, он спросил, не возьмусь ли я ему помочь. Я с радостью согласился и, помню, сказал, что есть переводы знаменитых стихов, вроде 66-го сонета Шекспира, которые как прочтёшь и выучишь наизусть, потом тебя с места не сдвинуть, хоть переводы есть и лучше.

– А вы прочтите 66-й в том переводе, который выучили, – сказала Вера Владимировна, жена нашего «античника».

Я прочёл:

*Зову я смерть, мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо...*

Ну, и так далее, до ударного финала:

*Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг?*

Читал я хорошо, выучила меня одна актриса, которая увидела во мне поэта.

Вера Владимировна сказала, что этот перевод Маршака ей тоже больше других нравится.

Потом мы стали прощаться, Вик Вик даже подал мне пальто, поблагодарил за визит. И уже на улице, в свете вечернего фонаря у подъезда его дома, когда я полез за перчатками, наткнулся на какие-то бумажки. Вытащил их, и мы с моими друзьями увидели деньги. Их было ровно сто, разными купюрами – по три, пять, десять рублей. Пересчитали их мы уже в общезитии. Удивились и пронизательности профессора, и его тактичности, и его щедрости, и даже ловкости рук – ведь никто из нас не заметил, как он сунул мне деньги в карман пальто.

Я на всю оставшуюся жизнь запомнил эту сотню. Думаю, мои друзья тоже. Повышенная стипендия, которую я получал на пятом курсе, была двадцать пять рублей по советским деньгам брежневских времён. Других доходов у меня не было – готовился к защите диплома, подрабатывать не оставалось времени, родители помогать не могли. Почему – скажу позже.

Значит, Вик Вик собрал нам четыре месячные стипендии. Думаю, всё, что у него было в тот зимний вечер наличными. Я потому сейчас про этот подарок вспомнил, когда прикидывал, спросить ли у Вики в долг и не окажется ли она такой же щедрой, как Боря Мазуркин и Семён Львович?

Решился и сказал:

– Вика, Саше надо прямо сейчас в отдельную палату. Условия в общей ужасные.

Она настороженно посмотрела на меня.

– Я набрал 15 тысяч. Надо ещё столько же. Не выручишь? С гонорара у Мазуркина – с ним сегодня подписал договор – верну.

– Конечно, – сразу отозвалась она. – Только надо съездить в банк, с собой нет. Может, сейчас и подъедем?

– Спасибо, Вика. А то я было совсем разуверился в людях – сам-то без зарплаты сейчас, перебиваюсь с хлеба на квас. Получаю гроши за мою переплату, сама знаешь.

– Да знаю, знаю, чего ты. Поехали?

У неё был свой «Вольво», и мы доехали до ближайшего банка, и теперь у меня было чем заплатить за отдельную палату для Саши.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. «ВЫСТРЕЛА В СПИНУ НЕ ОЖИДАЛ НИКТО»⁵

В тот день я не поехал в Преображенку. У меня был ключ от квартиры, в которой мне надлежало собрать вещи, которые просила привезти Саша. Но подспудно мне, конечно же, хотелось посмотреть, какой стала квартира без меня.

И вот я стою в гостиной, осматриваюсь. Мало что изменилось за год с небольшим, как я ушёл отсюда. Но есть детали, на которые невозможно не обратить внимания. Во-первых, нет моей любимой фотографии, где мы с Сашей сняты в новогоднюю ночь 1990 года. Мне 37 лет, ей 27. Мы сидим за столиком, голова к голове, перед нами горит свеча. Лица наши сняты крупно, они так и светятся счастьем, мы смотрим прямо в объектив, улыбаемся, и нельзя было хоть на минуту представить, что эти двое, такие молодые, влюблённые, расстанутся, будут мучить друг друга, и их жизнь обернётся страданием.

«Свеча горела на столе, свеча горела»⁶...

Вместо этой фотографии на её месте висела картина, пейзаж, довольно прилично написанный мастеровитой рукой. Закат на излучине реки, виден дальний берег, за который уходит солнце, красиво написана и вода с розовыми отсветами, и лес на том берегу. Но так и хочется почему-то сказать, как Базарову у Тургенева: «Друг Аркадий, не говори красиво». Наверняка это он подарил ей картину. Наверное, какого-то именитого художника, ведь он элитный московский человек. Ладно, не буду фантазировать, мне бы узнать, куда она девала нашу фотографию. А так всё в гостиной вроде по-старому: стол, диван, кресла. Даже столик под телевизором со столешницей хохломской росписи мой, привезённый из Нижнего.

Ладно, пройду в спальню, соберу вещи, которые ей нужны.

Когда уложил в дорожную сумку всё, что требовалось, по моему мужскому разумению, я подумал, что же делать дальше. Работать я, конечно, сейчас не мог. Но и сидеть на диване и распускать нюни тоже противно.

На тумбочке у дивана лежала телефонная книжка, я стал листать её, остановился на странице, где были выписаны адреса её телевизионных сослуживцев. Ага, вот телефон Андрея Ярцева. Я набрал номер. Он ответил не сразу.

- Неделин? Саша?
- Ну да, чего ты удивляешься. Или я не вовремя?
- Нет, что ты. Просто не ждал от тебя звонка.
- Почему же? Всё-таки мы не один год знакомы.
- Да знаешь, теперь... теперь всё пошло наперекосяк.
- А, понимаю. Мало кто звонит?
- Угадал. Я стал вроде прокажённого, – в голосе его, таком узнаваемом, баритональном, появилась хрипотца.
- Ну, Андрей, зря ты так. Что поделываешь?
- Да ничего. Кукую. А что?
- А не хотел бы встретиться?
- Ты это серьёзно?

⁵ Строка из песни В. Высоцкого «Парус» («Беспокойство»).

⁶ Строка из стихотворения Б. Пастернака «Зимняя ночь».

– Вполне. И не подумай, что из праздного любопытства. У меня к тебе дело.

– Дело? Про Сашу? Да ведь я про их отношения ничего не знаю. Ревун, сам понимаешь, такой, как все москвичи. Когда к нам приезжают – друзья не разлей вода, а в Москву приедешь – будто тебя первый раз видят.

– Я не про то. Ревуна на дуэль вызывать не собираюсь. И морду бить тоже. Я про тебя. Львович попросил.

– Львович? Это уже интересно.

– Ещё как. Но не по телефону... Где встретимся? Из дома-то тебя выпускают?

– Пока да. Но следователь обещал, что с той недели буду под домашним арестом. А может, и в предварилровку отправят.

– Предлагаю встретиться в «Синих парусах». Там можно в кабинетике посидеть, я Аните сейчас позвоню. Минут сорок тебе не дорогу хватит?

– Вполне.

– Ну, договорились. Жду.

Я выключил мобильник. Позвонил Аните, хозяйке ресторанчика, у которой можно иногда взять в долг, иногда выпить тоже в долг, но не злоупотреблять её расположением и, главное, вовремя отдавать заём. «Синие паруса» многим из нас, пишущих и играющих, нравились тем, что там были отдельные кабинетики с настольными лампами, вольными росписями на стенах – например, можно было увидеть Мэрилин Монро в центре стола, за которым сидели, веселясь, Ричард Гир в обнимку с красоткой, напоминающей Джулию Робертс, ещё каких-то кинозвёзд и спортсменов – расписывал стены самодельный «постмодернист» Кеша Шишков, он же Стэн Колорадо, и сходство с прототипами не всегда у него получалось явным. Кеша и название ресторана придумал. Сказал, раз есть алые паруса, пусть будут и синие. И Анита это название одобрила, потому что бизнес её муж, Рустем, завязал с рыбаками из Астрахани и даже Владивостока. В общем, ресторанчик мне нравился, и я время от времени там выпивал – особенно после того, как Саша указала мне на дверь, признавшись, что у неё роман с Константином Ревуном, телевизионным деятелем и продюсером из Москвы.

Анита, спортивного вида литовка, всегда модно одетая, встретила приветливо, но по улыбке её настороженной, я понял, что она уже в курсе наших событий. Рустем, татарин, который вёз на себе основной груз многочисленных хлопот, тоже вышел поглядеть на нас – выходит, я не ошибся в предположениях. Впрочем, поздоровались как друзья. Мы знали, что Рустем любил белокурую Аниту, «пластался» ради неё, порой выкручиваясь из очень непростых ситуаций. И «Синие паруса» не рвались, хотя на одной из стен были начертаны слова из знаменитой песни Высоцкого про «рваный парус».

Анита устроила нас в хороший кабинетик, принесла виски, фирменный салат из свежих овощей и осетрины. Мы выпили, и я попросил Ярцева рассказать всё с самого начала – и ничего не скрывать по возможности.

Он согласился, потому что я ему сказал, что на самом деле не верю, что он убийца. Он смотрел на меня усталыми, больными глазами и выглядел совсем не так, как раньше – ладное, крепкое тело всегда обтянуто самыми дорогими рубашками и костюмами, волосы неизменно подстрижены, как этого требовала последняя мода. Любимец наших барышень и молодящихся женщин сейчас вроде был таким, как всегда, но глаза выдавали его – в них читалась растерянность перед ужасом жизни, которая внезапно показала ему свою изнанку.

– Её зовут... звали, извини, Ольга Соловьёва. Предложили мне в аспирантки в этом году весной, – начал он. – Я согласился, тема про телевидение, моя. С первого знакомства она показалась толковой девушкой, достаточно нахвтанной, бойкой, по-современному раскованной. К тому же миловидна. Я и предположить не мог, что это ширма. Под ней скрывалась властная и хваткая натура.

– Ты это понял, когда переспал с ней?

– Ну да. Она ловко всё обставила, я и оглянуться не успел, как попал в капкан.

– Где вы встречались? Как долго?

– Да с марта. Она попросила отвезти её к себе в Купавино, живёт с матерью, у них там дом. Мать преподаёт в сельхозтехникуме, теперь, конечно, колледже. Ну, подвёз, тут всего-то часа два езды.

Приехали, дома матери нет. Ольга говорит, она уехала в Кручинск по делам, можно посидеть, расслабиться. Ну и всё началось. Потом стал ездить регулярно. Как подсохло, ездили на природу, у них лесок, речка эта, Гусёлка.

– Там её и нашли?

– Да.

– Когда?

– Седьмого мая.

Вот тебе раз. Какая-то зловещая магия цифр. – Я вспомнил палату номер 66, где сейчас лежит Саша, шестьдесят шестой сонет Шекспира. А теперь вот седьмое мая.

– А что такое? Почему ты удивился?

– Седьмое мая, Андрей, еще с советских времён день радио и телевидения. Неужели не знал?

– Знал, но как-то забыл.

Он наполнил рюмки. Виски был желтоватого цвета, шотландский. Я заметил, что, когда Ярцев наполнял рюмки, пальцы его дрожали.

Неужели он и вправду мог убить?

– Когда она тебе сказала, что беременна?

– В апреле. Едем к ним, она мне по дороге и сказала. А когда приехали, я по лицу её матери, Натальи Ивановны, сразу догадался, что она всё уже знает. Но вида не подал, держался.

– Уговаривал сделать аборт?

– Конечно. У меня и на минуту даже не залетала мысль, что я свою Кларку и детей брошу. И Ольге я с самого начала говорил, что у нас ничего серьёзного быть не может.

– А она тебе сцены стала устраивать.

– Ещё какие! И в присутствии других, даже на семинарах, всячески стала подчёркивать, что у нас отношения особенные.

– И это твои аспирантки видели. И всё поняли.

– Да!

– Что у тебя за пакет?

– Фотографии. Чтобы ты лучше представил себе и место убийства, и её дом, и в парке то место, где тоже встречались.

Я бегло посмотрел фотографии, решив, что дома рассмотрю их внимательно.

– Теперь расскажи подробней о седьмом мая. Вернее, о шестом.

– Ладно... – Ярцев снова налил, опять выпили.

От выпитого он не краснел, как это обычно бывает, а бледнел. Я побоялся, как бы с ним не стало плохо.

Но отступать поздно. Я и сам стал «разгоняться» – когда выпили по третьей, виски показался мне даже очень хорошим.

– Шестого мая после занятия на семинаре я вёз её к матери. Она попросила свернуть в рощу. На фото она есть. Говорит, посидим, подышим свежим воздухом. Приехали на наше место, разговор опять свернул на прежнюю проклятую тему. Я разозлился не на шутку и выпалил, что из семьи не уйду, детей не брошу, и всё такое. Она закатила истерику, что я подлец и прочее... Кричать стала. Я не выдержал, встал и пошёл к машине. Сел – и уехал. Вот так всё и было!

– Вас кто-нибудь видел? Слышал её крики?

– В том-то и дело, что и видели, и слышали! Какие-то тётки, какой-то мужчина в свидетелях оказался...

– Её нашли на следующий день, – утвердительно сказал я. – Мать не дождалась, не дозвонилась...

– Ну да, соседка сказала, что видела нас в машине, что мы по шоссе ехали. Другая тётка сказала, что в рощу свернули, к реке вроде... Она в милицию. Искали недолго. Вот тебе и свидетельство, и улики, и мотив. Всё один к одному.

Он замолчал.

Я обдумывал всё, что он рассказал. Если убил не он, значит, после того, как он уехал, кто-то увидел эту Ольгу Соловьёву, кто-то подошёл, заговорил. Может так быть? Может. Но кто это был? А что следствие? Не нашло других улик? Если хотят заключить его под стражу, значит, версия убийства единственная и неопровержимая... И нечего тут искать. И зачем вообще мне лезть в эту грязь? Зачем я согласился? Зачем?

Я смотрел на Ярцева. Глаза покраснели. Что-то появилось в них кроличье – ведь они были чуть раскосые, миндалевидные, которые так нравятся женскому полу.

Он посмотрел на меня, чтобы убедиться, верю ли я теперь ему или нет.

– А что же следствие? – наконец спросил я, чтобы прервать тяжкое молчание.

– Сначала местный взялся, потом его отстранили. Областного назначили. По просьбе нашего Львовича. Тот губернатору звонил. Не знаю, что они там ещё накопили.

– Адвоката взяли?

– Конечно! Кларка моя тут такую деятельность развела! Дома – атмосфера как в пыточной камере.

– Представляю.

– Я иногда даже думаю, что в тюрьме мне стало бы легче! – горячо сказал он, и голос его сорвался.

– Брось, Андрей. Ещё бьётся парус, хоть и порвали его, как проорал Семёныч. Но он же сказал ещё, что каяться надо.

– А я что? – Он всё-таки заплакал. – Ну да, спал с этой стервой. Виноват! Но убийство на меня вешать? Нет, не дамся!

Светло-синие шторы нашей кабинки, на которых по волнам под всеми парусами шли фрегаты, раздвинулись, показалось лицо Аниты, вопросительно смотрящее на нас.

– Пожалуй, ещё двести, – сказал я. – Отличный виски.

– А закусить?

– Мне что-нибудь такое... с морскими гадами.

– Есть крабы. С зеленью.

– Во. А тебе, Андрей?

Он как-то обречённо махнул рукой, вытирая платком слёзы, которые всё катились из его глаз.

Кое-как мне удалось его успокоить. С помощью виски, конечно. Он заплакался и неожиданно сказал:

– Спасибо, Неделя. Ты верующий человек, тебе легче. Но всё же... Ревун – гад. Я с ним выпивал и понял, кто он такой. Вот кого надо сажать в тюрьму!

– Это почему?

– Потому что я золотых гор не обещал. Не совращал. А он сделал и то, и другое.

– Рассказывай, раз начал.

– Да ты сам всё знаешь. Вика же всё тебе рассказала.

– Нет, не рассказала.

– Не может быть.

Видя, что я не спускаю с него глаз, пьяно усмехнулся и сказал:

– Во-первых, никакого свободного места во «Встрече» не было. Во-вторых, он предложил ей всего лишь эпизодик в сериале, который продюсирует. Я это точно узнал, потому что сам пробовался на роль в этом сериале – он вызвал меня. Съездил, потусовался, вот и все дела. Он не Ревун, а врун.

Мне говорили, что из-за популярной передачи «Встреча», куда обещал устроить Сашу Ревун, она и сдалась в конце концов. Но в общем-то какая разница, почему она уехала с ним. Нашла бы кого-то другого, ведь она рвалась в Москву, а я был для неё «отработанный пар».

Но всё же, всё же...

– Что ещё? – спросил я Ярцева.

– Про квартиру знаешь?

– Какую квартиру?

– Ну, куда он её поселил. И якобы ей подарил. Вика там останавливалась... Не говорила?

– Нет.

– Хм, – он прилично захмелел. Но говорил внятно. – Квартира-то не его, съёмная. Так сказать, для частных встреч. Когда твоя Саша сама всё про «Встречу» выяснила и за эпизодик в сериале поблагодарила пощёчиной – привратник пригласил её на выход... Так и было, старик, это Вика мне в красках поведала. Их же хлебом не корми, дай про интим подробности посмаковать. Теперь вот они меня жрать принялись. И сожрут!

Он остановился, откинулся на спинку мягкого кресла.

– Так что там про парус? Как там у него: «А у дельфина... взрезано брюхо винтом» – так да? А дальше... что-то про выстрел вроде, а? Напомни.

Я помнил: дальше идёт самая лучшая строка этой песни: «Выстрела в спину не ожидал никто...»

– Ладно, пора по коням, Ярцев, – сказал я вслух. – Напомни лучше, как районного следователя зовут. Поеду в Купавино, может, прямо завтра.

– Да? Всё же будешь копать? Каширкин его фамилия. Кларка с ним говорила. Знаешь, он ей понравился куда больше областного...

Я достал мобильник и вызвал такси. Рассчитались с Анитой, попрощались. Она просила приходить ещё. Мы обещали.

Когда приехал в мою бывшую квартиру, нашёл диск с песнями Высоцкого, вставил его в проигрыватель. И стал слушать песню, которая всё время крутилась в моей голове – с тех пор, как Ярцев вспомнил про нее:

*Даже в дозоре
Можешь не встретить врага.
Это не горе –
Если болит нога.
Петли дверные
Многим скрипят, многим поют:
Кто вы такие?
Вас здесь не ждут!*

*Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!*

*Многие лета –
Тем, кто поёт во сне!
Все части света
Могут лежать на дне,
Все континенты
Могут гореть в огне –
Только всё это –
Не по мне!*

*Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!*

ГЛАВА ПЯТАЯ. «Я И САМ БЕЖАЛ ПО ЖИЗНИ, СЛОВНО СЛЁЗЫ ПО ЛИЦУ»⁷

Каширкин оказался приземистым, коренастым человеком лет тридцати пяти. Он старался «держаться дистанцию», показывая, что здесь он начальник, а я всего лишь «журналист», пусть и известный. Но всё-таки довольно быстро он хотя и не перешёл на «ты», но всё же смягчился, стал держаться не так покровительственно, по-учительски, как в начале нашего знакомства. Его широкое некрасивое лицо с морщинами, которые собирались на небольшом лбу, когда он начинал говорить, наклонив большую голову и готовясь сказать какую-то важную для него мысль, вскидывалось, словно после выстрела – когда произносилась ударная фраза, и он выставлял вперёд ладонь, подняв вверх указательный палец.

Вот эта манера выносить вердикт – окончательный, безапелляционный, и не давала хода его карьерному росту, раздражала начальство, и ему не раз приходилось терять их расположение, а то и получать понижение, а не повышение по службе.

Звали его Николаем Ивановичем, так он и представился после того, как внимательно изучил моё удостоверение.

⁷ Строка из стихотворения самарского поэта М. Анищенко.

Я попросил его показать мне место преступления, и на его мотоцикле мы подъехали к той самой рощице.

Берёзы, ясени, осины стояли неподвижно, образуя поляну с уже местами пожухлой травой. Поляна довольно большая, от неё вела тропа к Гусёлке, бедной, мелководной речушке, которая за лето почти пересыхала.

Каширкин остановил мотоцикл на краю поляны. Одет в милицейскую форму, рубашка с короткими рукавами, фуражка, брюки выглажены, ботинки начищены. Он вопросительно смотрел на меня, прищурясь.

– Ну? – спросил он. – Осматривайте.

Я прошёлся по поляне. Кое-где видны были следы от колёс автомашины, больше я на траве ничего не увидел.

– Знаете, Николай Иванович, – сказал я, обойдя поляну, – я ведь не славный сыщик Знаменский и не Коломбо, который сейчас так популярен. Поэтому смиренно прошу вас растолковать мне, к каким вы пришли выводам.

Он усмехнулся, покривив свои тонкие губы.

– Смирено – это по-вашему, по-поповски. Вы же теперь всё равно что попом стали. А ведь раньше куда как смелее были.

Он поглядел на меня, показывая, что отлично осведомлён о моей телевизионной работе.

– Ну, глядите внимательно. Первое. Обломанные ветки говорят, что тело преступник волок сюда, видите? Вот по этому прогалу видим, что он обнаружил неподалёку яму, куда и бросил труп. Не понял, дурак, что найти тело очень легко. Торопился, и, главное, убийца физически слабый человек, потому что дальше есть куда более скрытые места. Да и речка рядом. Можно было труп сбросить в воду. Привязав камни, конечно. Но он выбрал первую попавшуюся яму, которую наскоро забросал землёй. А потом сверху набросал листьев. Всё говорит о том, что это никак не мог быть Ярцев, потому что он не такой же дурак и не так слаб физически, чтобы не перенести труп в более скрытное место или увезти подальше. Второе. На самой поляне тоже были следы, но не от автомобиля, а скорее от мопеда, я проверял и сфотографировал. Но ваш областной капитан эти следы так истолковал, что они остались после убийства. Мол, кто-то из любопытных пацанов приехал. Другой версии даже не предположил.

Он снял фуражку, пригладил коротко подстриженные волосы. Уже начало припекать – день опять грозил жарой.

– Так может действовать только совсем уж несмышлёный человек! Но ваш мудрый капитан всё аффектом объяснил и слабой физической силой убийцы. Но Ярцев-то ваш спортсмен! Он сто раз сам по телевизору это подчёркивал!

Я понял, что в Каширкине говорит оскорблённое самолюбие. Его версии сразу были отмечены, профессиональные качества приравнены к нулю. Видимо, ему хотелось доказать, что профессиональны-то не высокие начальники, присланные из областного управления. И потому он так саркастически выставлял их передо мной.

– Какие выводы вы можете сделать, уважаемый Александр Сергеевич?

Я не нашёлся, что ответить.

– Подумать надо.

– Так-так...

Каширкин пристально смотрел на меня.

– А не можете предположить, что тело сюда привезли?

– Привезли?

- Ну да, на этом мопедe, следы от которого оставлены.
Я молчал – обдумывал сказанное Каширкиным.
- Вас же не совсем в попа превратили, Александр Сергеевич. Рассуждайте.
- Церковь как раз учит рассуждению, Николай Иванович. И почему вы к священникам так относитесь? Неужели вам в вашей практике не встретилось ни одного, пусть не мудрого, но умного священника? Вы же мои передачи, выходит, смотрели. Неужели ни один пример жертвы во имя Христа и людей вас не тронул?
- Так это всё в прошлом, – усмехнулся он. – Архиепископ Лука, ну, ещё этот, как его, ну, уральский, которого чекисты заставили рыть себе могилу, а потом в ней его и закопали живым. Вы так красноречиво рассказали.
- Архиепископ Андроник его звать.
- Да, Андроник, точно. Так это же всё в прошлом, а нынче как? Вы нашим, купавинским отцом Петром поинтересуйтесь. Откуда, мол, у тебя, отец Пётр, автомобиль марки «ауди»? На какие шиши построил себе особняк, а храм восстанавливать не собираешься, всё во временном помещении службы ведёшь...
- Поинтересуюсь, Николай Иванович. И вам доложу. А сейчас давайте вернёмся к нашему делу. Значит, подытожим. Тело сюда, по-вашему, привезли. А как же показания свидетелей? Они же видели Ярцева с Соловьёвой, как он её сюда на машине привёз.
- Точно, видела одна свидетельница. Но время-то назвала приблизительно. «После обеда» – вот её слова.
- И что же? Выходит, Ярцев уехал, как он сам говорит, а кто-то Соловьёву встретил. Но кто? Вы нашли этого человека?
- Пока нет. Но найду. Но выяснил кое-что другое. Не хотите встретиться с Натальей Ивановной, матерью Соловьёвой? Она сейчас дома.
- Вот так Каширкин. Действует по заранее намеченному плану. Интересно. Вот почему ярцевская Клара одобрила и даже подтолкнула мою поездку к Каширкину. Давно известно, что мозги у Ярцева – жены, она ему их время от времени вправляет.
- Вот и дом Соловьёвых. Наталья Ивановна вышла встретить нас, отворила калитку палисадника. По грунтовой дорожке мы прошли в горницу.
- Выглядела Наталья Ивановна не как убитая горем мать. Держалась с достоинством, строго. Вид у неё учительский – и в одежде, и в поведении сразу угадывались черты сельского преподавателя. Лет ей за пятьдесят, видно, что перенесла она немало – морщины на лице, особенно заметные у глаз, на шее видны складки кожи – когда она говорила, эти складки, напоминавшие куриные, были особенно видны. Волосы гладко зачёсаны, с седой.
- Наталья Ивановна, расскажите, пожалуйста, с кем встречалась ваша дочь до знакомства с Ярцевым Андреем Петровичем, – начал Каширкин.
- Вы имеете в виду школьных друзей? Или институтских?
- Я имею в виду тех лиц мужского пола, из местных, кто особенно за ней ухаживал и даже приходил в ваш дом.
- Ну, я же вам говорила... Таких ребят было несколько.
- Да, но из них кого вы бы выделили?
- Наталья Ивановна покосилась на мой диктофон, который я достал из сумки и положил на стол.
- Извинился, сказав, что это необходимость, поскольку речь идёт о деле серьёзном – слово «убийство» я побоялся произнести.
- Ну, я же назвала, Николай Иванович, что же повторяться.

- Назовите ещё раз.
- Это Дима Кузин. Наш техникум закончил. Сейчас частное дело затеял. У него небольшой магазин. Он за Олей ухаживал ещё в школе. Потом, когда она в университет поступила, реже стал приходиться... Ольга его не очень жаловала...
- Даже прогоняла?
- Было и так. Но было и иначе.
- Как именно?
- Ну, он предлагал Оле выйти за него замуж. Но Оля ему отказала.
- Причина, кажется, в том, что Ольга ждала, когда он начнёт самостоятельную работу.
- Совершенно верно. У них весной, кажется, произошло какое-то объяснение, я слышала, как они спорят... Оля даже кричала. Я пришла из кухни, приказала Диме уйти. Он был очень раздражён, зол.
- Это когда было?
- В марте.
- Андрей Петрович позже появился? – наседали Каширкин, всё ближе наклоняя свою большую голову к Наталье Ивановне.
- Да, но в дом он к нам не заходил. Когда стал чаще приезжать, я от Оли потребовала, чтобы она нас познакомила.
- Это было уже в апреле?
- Да.
- Каширкин выпрямился.
- Наталья Ивановна вздохнула, словно, как и следовало, выполнив тяжёлую работу.
- Что же это я? Может, квасу? Компот ещё есть, вишнёвый, не желаете? Холодненький.
- Николай Иванович утвердительно кивнул.
- Посмотрел на меня значительно – мол, соображаешь, что к чему?
- Я тоже утвердительно кивнул.
- Мы предпочли компот, Каширкин чайной ложечкой доставал ягоды из чашки, нахваливал хозяйку. И вдруг, не съев вишенку, оставив чашку на полпути ко рту, спросил:
- А когда Оля сказала, что беременна?
- Наталья Ивановна даже вздрогнула от неожиданного вопроса.
- Точно не помню...
- В марте? – Каширкин опять набылчился, нагнул голову к Наталье Ивановне.
- Да, уже начались весенние каникулы.
- Это важно, Наталья Ивановна. Скажите ещё раз.
- В марте, я запомнила.
- Спасибо. И простите, что вас беспокоили.
- Она горестно покачала головой.
- Раз надо... Следствие ведь продолжается...
- А вы верите, что это Ярцев убийца? – внезапно спросил Каширкин.
- Она подняла голову, посмотрев на него тяжёлым взглядом:
- Трудно поверить. Но приходится.
- На улице, усаживаясь на мотоцикл, он спросил:
- Ко мне заехать не желаете? Дело у меня дома.
- Жил Каширкин в трёхэтажном панельном доме, построенном ещё в хрущёвскую пору. Такие дома строили даже в совхозах, в которые почти силой загоняли селян, лишая их огородов и садов, без которых почти невозмож-

но было прожить. Но сельский народ исхитрился заводить участки у родни, по большей части у стариков и старух, и там выращивали овощи, фрукты, которые и помогали им выжить.

Однокомнатное жильё у Каширкина оказалось спартанским. Или, точнее сказать, холостяцким, по военному образцу. Разве что телевизор на тумбочке в углу комнаты да цветные шторы на окне составляли отличие от жилья в казарме.

Он усадил меня за рабочий стол, достал из ящика папку, положил её перед собой, сев рядом.

– Ну, что вы уразумели, господин-товарищ?

Он смотрел на меня дружески, но всё же с некоторой снисходительностью. Продолжал проверять меня.

– Вы, Николай Иванович, подозреваете в убийстве этого школьного ухажёра Ольги. Наверное, поэтому допытывались, когда у них произошёл разрыв. Но ведь и так ясно, когда Ярцев стал привозить её из Кручинска. А этот Дима – какой же он Ярцеву соперник...

– Дмитрий Кузин сейчас предприниматель, открыл магазинчик товаров первой необходимости – так сказать, мыло, шило, гвозди. Дело у него пошло, он хорошо знает, что нашему жителю прежде всего нужно – кроме хлеба, колбасы, водки. Но вот чего вы не знаете, Александр Сергеевич...

– Может, перейдём на «ты»?

– Согласен, – он развязал тесёмки папки. – Вот смотри. Это справка из женской консультации. Ольга Соловьёва посещала её в феврале. Установлена беременность. Срок два месяца... Что это значит? А?

Я не сразу сообразил, что забеременела она ещё до встречи с Андреем Витальевичем Ярцевым, ведь её определили к нему в аспирантки в марте, попросили выручить, у них руководитель Соловьёвой заболел. Андрей же говорил об этом, каялся, что взял её, погнался не столько за приработком, сколько за самой аспиранткой. Смазливая, фигурка классная, как же тут было отказать, вот и влип, как муха в мёд...

– Второе посещение консультации уже в апреле. Значит, решала, делать аборт или нет, выжидала, сумеет ли победить Ярцева. Вплоть до шестого мая, то есть дня убийства...

Он усмехнулся, придвинул ко мне ещё одну бумажку.

– Это показания Дмитрия Кузина, почитай, что он пишет про связь с Ольгой, про шестое мая. Я копию снял.

Из показаний следовало, что они встречались с Ольгой, были и разлуки, но он всё равно хотел жениться, потому что у них была связь. Но она выйти замуж окончательно отказала. Это было тридцатого апреля.

Дату эту Николай Иванович подчеркнул.

– Ну? – требовательно спросил он, когда я вернул протокол допроса.

– Так... Тридцатого апреля, – размышлял я. – Шесть дней...

– Именно! Обратил внимание, что в эти дни магазин его был закрыт.

– И что?

– А то, что в эти дни он мог следить за ней, маяться, ждать, надеяться! Сможет её вернуть! Вполне возможно, он видел, как Ярцев привёз её шестого мая. Допускаешь? И когда уехал Ярцев, он и встретил её. Произошло объяснение, она ему показала на дверь, и он...

Да, так вполне могло произойти.

Каширкин доказал мне, что убийство произошло не в этой рощице. Кузин Ольгу выследил, встретил. Могли приехать сюда... А потом он Ольгу отвёз туда, где они с Андреем встречались. Чтобы его подставить...

Я вслух сказал об этом.

Каширкин убрал папку, застелил стол скатеркой. Принёс тарелки, вилки, рюмки. Выставил бутылку водки.

– Извини, у меня только картошка жареная, солёности.

– Не извиняйся. Как раз то, что надо.

– Есть ещё паштет. Я его на завтрак употребляю.

– Давай и паштет. А хлеб-то есть?

– А как же. Зерновая проблема у нас решена.

Стол он накрыл быстро, всё у него стояло на своих местах, он привычно доставал из кухонного ящика и холодильника всё что нужно.

Наполнил рюмки.

– Ну, давай, Саша.

– Давай, Коля. За успех нашего безнадежного предприятия.

– Почему же безнадежного? – Он не стал пить, удивленно глянул на меня.

– Да это так, шутка.

– А-а-а. А то подумал, что зря стараюсь.

– Нет, Коля. Ты «Знатоков» вместе с Коломбо⁸ хочешь за пояс заткнуть.

Ладно, поехали.

– Поехали.

Мы поужинали, поговорили на разные темы, уже не про убийство.

Оказалось, что, окончив школу милиции, он служил на Севере. Два года отслужил, однажды при аресте уголовнички его подстрелили, но он вылез. Его отпустили на родину, к матери, которая осталась одна после смерти мужа. Её похоронил в прошлом году, дом в деревне продал, купил вот однушку и мотоцикл «Ява» с коляской.

В гостиницу он меня не отпустил, постелил себе на раскладушке, мне на своём узком диване. Мы улеглись.

Но ни мне, ни ему не спалось.

– Вот мы сейчас с тобой говорим об одном, – размышлял я, – а думаем совсем о другом. Конечно, тебе не в первый раз убийство раскрывать. Это твоя профессия. А мне, признаться, убийством всего раз приходилось заниматься. Сейчас дело касается моего товарища. Не то чтобы он нравился мне. Нет, в нём много такого, которое мне как раз просто противно. Тщеславие это, желание выставиться, всем понравиться. Но ведь эти качества есть и во мне. Сколько раз я ловил себя на том, что и мне приятно, когда хвалят, когда и я подспудно всё делаю для того, чтобы добиться успеха. Понимаешь, Коля, с годами я пришёл к выводу, что сама природа телевидения такова, что хочешь того или не хочешь, в душе рвёшься именно к известности, к славе. Вообще в творчестве, будь ты хоть писателем, хоть художником, хоть композитором, заложено, что тебе обязательно нужен успех. Чтобы дело твоей жизни развивалось, шло не по наклонной, а вверх. Артистам это чувство свойственно в высшей степени. А телевизионная профессия, особенно автора, ведущего, сродни актёрской. Вот ты говорил, что раньше мои передачи были смелыми, броскими. Такие передачи всем нравятся. А я потому и перестал ими заниматься, что увидел – они мне во вред.

– Да как это? – изумился Николай. – Это ты серьёзно?

– Да, Коля, да. Я увидел, что превращаюсь в такого же Ярцева и ничем не лучше его. И дело совсем не в том, что мне иногда удавалось делать

⁸ Имеются в виду сериал «Следствие ведут знатоки» и герой американского детективного сериала «Коломбо».

передачи лучше других, получить высокий рейтинг и повышенный гонорар. А в том, что приходилось красоваться, привирать, подгонять все факты под заранее готовую идею, которая оказывалась прямо противоположной правде жизни. Понимаешь, о чём я?

– С трудом.

– Я тоже с трудом подходил к пониманию этой истины. Но душа не давала покоя, мучала. И чем ближе подходил к разгадке, тем больше осознавал, что важно не только усвоить евангельские истины, а стараться жить по ним – вот что главное, Коля.

– А если я твои евангельские догмы не принимаю? Считаю их неправильными?

– До поры до времени так будешь считать. Потому что душа в основе самой глубинной – христианка. И никуда от этого не денешься. Так один мудрец ещё полторы тысячи лет назад сказал. Звали его Тертуллиан.

– Это как – христианка? А если от рождения она у гада какого-нибудь порочная?

– Всё равно она христианка.

– Глупость! Абсурд.

– Правильное слово нашёл, Коля. Один из самых известных афоризмов Тертуллиана таков: *«И Сын Божий умер: это бесспорно, ибо нелепо. И, погребённый, воскрес: это несомненно, ибо невозможно»*.

Коля хмыкнул, раскладушка его заскрипела, он встал.

– Мудрено. Но лихо. – Он подошёл к балконной двери. – Душновато что-то. Открою, не возражаешь?

Он раздёрнул шторы. Лунный свет залил комнату.

Коренастая фигура Николая хорошо была видна в проёме двери. С минуты он смотрел на небо, потом повернулся ко мне лицом.

– Знаешь, Саша, так редко удаётся поглядеть на небо, увидеть звёзды, луну вот эту... И подумаешь о чём-то таком, чего в обычной жизни в башку не приходит. Может быть, он действительно есть? Сидит себе где-нибудь там, в просторах галактики, и думает о нас, глупцах. Ведь как мы живём? Это же ужас какой-то! И если он действительно есть, почему он всё это допускает?

– Это самый распространённый вопрос, который задают противники веры. Всё дело в том, что Господь дал нам свободу выбора. Я выбираю добро, справедливость, любовь, так и стараюсь жить. А если не выбираю это, значит, бью прежде всего по самому себе, по своей душе. Грех – это выстрел в душу свою, понимаешь? Все болезни от этого и идут.

– Ты извини, Саша, но я не понял тебя. Допустим, я преступник. Так меня преступником общество сделало! Я-то тут при чём? Хотел, допустим, семью от голода спасти. И что? Где тут у меня выбор, когда рядом миллионы крадут, и им ничего. А я вкалываю, под пули иду, а мне шиш да маленько. И будь благодарен и за это, Каширкин. Иначе с работы тебя турнём.

Луна освещала его широкое крестьянское лицо, крепкий торс, крепкие ноги. Он стоял в трусах, и виден был длинный шрам, пересекавший его живот.

– Да, Коля, в мире много несправедливости, и часто не туда мы идём. Но спасение лично твоё и моё всё же от нас самих зависит. Мы с тобой сейчас вот спасаем не Ярцева, а может, свои души.

Он вздохнул, снова повернулся лицом к небу.

– Звёзды-то какие. Погляди, Саша. Видишь?

Он ещё отодвинул штору, отошёл от проёма двери в сторону.

С балкончика третьего этажа лейтенанта милиции Николая Каширкина звёздное небо действительно хорошо выдось. Здесь не строили современных высоток, и они не заслоняли небо.

Никогда бы не подумал, что лейтенант милиции будет рассуждать о звёздах на небе, а не на погонах.

Я встал, вышел на балкончик к Николаю.

– Знаешь, Саша, ведь и поговорить-то у нас не с кем. Извини, что болтался.

– Ты прав. Хотя профессия у меня болтать, а поговорить-то действительно бывает не с кем. Особенно когда на душе тяжело.

Он неожиданно сказал:

– Там ещё осталось. Может, по одной?

– Принимается.

Мы выпили по рюмке, закусили солёным огурчиком и лишь потом улеглись – он на раскладушку, а я на его узкий диван, который скорее можно было назвать топчанчиком.

Заснул я не сразу, помолился, а потом вспомнил стихотворение, которое написал, не находя себе места, когда Саша сказала, что между нами всё кончено и мне надо уйти. И я ушёл, и неожиданно для себя написал той ночью стихотворение, первая строфа из которого и сейчас мне нравится:

*Не сдавайся, брат, не кисни,
Не стреляйся на плацу,
Я сам бежал по жизни
Словно слёзы по лицу.*

ГЛАВА ШЕСТАЯ. «КОГДА ЛЮБОВЬ ЗА НАМИ ШЛА ПО СЛЕДУ, КАК СУМАСШЕДШИЙ С ЛЕЗВИЕМ В РУКЕ»⁹

В больницу к Саше я пришёл, как только вернулся из Купавина.

По боковой лестнице, что находилась в конце коридора, меня провели на второй этаж к высокой двери. За нею оказался вход в прихожую. Ещё одна дверь вела в палату, где теперь лежала Саша.

Палату стоит описать, потому что я увидел чистоту, устроенность прямо идеальную, как будто я попал в совершенно иной мир. Всё выглядело как в номере отличной гостиницы. Только здесь преобладал белый цвет, указывая, что мы всё-таки в больнице. А так – и телевизор на стене, и холодильник в углу, столики, письменный и журнальный, кресла около них, и даже картина на стене, с каким-то сентиментальным пейзажем. А на тумбочке ваза с букетом роскошных роз.

Саша лежала на широкой кровати, прибранная, причёсанная, накрытая тонким одеяльцем в белоснежном пододеяльнике, на широких мягких подушках. Воздух свежий – чуть слышно работал кондиционер.

Контраст с шестьдесят шестой настолько велик, что я невольно развёл руками и сказал:

– Глазам своим не верю.

⁹ Строка из стихотворения Арсения Тарковского «Первые свидания».

Она чуть кивнула мне. Её лицо сегодня выглядело вполне нормально, без боли и отчаяния.

А голос? Речь?

– И кормят здесь иначе? И лечение другое?

Она показала мне на мягкий стул, чтобы я придвинул его к кровати.

– Э-т-т-о ты. Спа-а-сибо.

Ага, и говорит лучше.

– Ну почему я... Нет, это ты. И знаешь, почему? Я взялся за дело, очень шумное. Даже сенсационное. Вернулся к «расследованиям», как ты и настаивала.

– Ярцев?

– Ну, от тебя ничего не утаишь. Это Вика натрещала?

А про себя подумал: «Неужели и про мой заём сказала?»

Она опять кивнула, поправила цветастый шёлковый халатик, который я очень любил, когда она его надевала.

– При-подними ме-ня.

Я склонился к ней, приподнял подушки.

Наши лица оказались близко друг к другу.

Глаза неожиданно синие на смуглом лице. Один – зеленоватый, если присмотреться. Нос с небольшой горбинкой. Скулы, которые придают её лицу выражение силы, некоей величавости, как у её любимой Ахматовой, которой она не подражает, а от природы у неё это сходство есть. Господь дал ей гордую красоту – даже удар её не испортил.

Минуту мы смотрели друг на друга.

– Меня не-ль-зя простить, – опять сильно заикаясь, сказала она, обняв меня.

– Ну, что ты, что ты. Это я во всём виноват. Я не должен был... надо смиряться... побеждает не гордость и злоба...

– Это сло-ва. Я се-бя у-била. Сама.

– Ерунда, Сашок, ерунда.

– Нет.

– Не реви. Ты же сильная.

– Нет.

– Да. Господи, ну почему мы мучаем друг друга? Ну помоги нам. Особенно тебе, Сашок. Я каждую минуту прошу. И ты проси. Он не может не услышать нас. Где двое, там и Он посреди нас.

– Я не умею.

– А ты учись. Это так просто. «Господи, прости меня грешную».

Вот и всё.

Я взял полотенце, вытер её лицо. Увидел на тумбочке её «андроид».

– Мать звонила, – сказала она, перехватив мой взгляд. – Едет. Медвежонок... тоже звонил.

– К нему съезжу на днях. Знаешь, пока ему не надо видеть тебя. Подождём, согласна? Ну и хорошо. И говори больше, не отмалчивайся. Мне знающие люди сказали, что чем больше ты будешь говорить, тем лучше для восстановления речи.

– Будет логопед. – Она всё смотрела на меня заплаканными глазами, пытаюсь понять, правду ли я говорю или прикрываюсь евангельскими словами.

Мне тогда показалось, что она старается меня понять, но всё же не может. И я решил больше не нагружать её утешениями, а перевести разговор на понятный ей язык. И стал рассказывать о Каширкине, о расследо-

вани, о матери Ольги и Диме Кузине. И увидел, как всё больше и больше она становилась внимательней, заинтересованней.

Оказалось, что Ольгу Соловьёву она знает. Андрей приводил её в павильон, на передачу, чтобы она училась, как надо готовиться к эфиру, как вести себя с приглашёнными. Саша была для Ярцева как учебное пособие, он её упросил.

Потом она всё-таки задала мне сакраментальный вопрос:

– А ты веришь, что Андрей мог убить?

– Раньше не совсем верил, а сейчас да, не верю.

– Всё же сомневался?

– Да. Знаешь, уж очень похожа вся эта история на «Американскую трагедию» Драйзера. Я даже героя романа вспомнил, как звать. Клайд Гриффитс. Конечно, всё здесь с нашим, русским акцентом. Но ситуация похожа, и она давит на мозги. Я об этом в передаче обязательно скажу.

– А Львович... разрешит?

– Ещё бы. Все они только о том и думают, как Ярцева спасти. Чтобы себя отбелить. Понимаешь, Саша, я на стороне власть предержащих. Народ-то подумает, мол, и этот проданся. Потому что думает, Ярцев свою шкуру спасал, поэтому и убил. А ножевых ран 14 – так это он от страха трясся... Но у меня надежда на этого Каширкина – вьедливый, очень непростой мент. Он даёт железные доказательства – я его обязательно на передачу приглашу.

– Ты сможешь.

(Её речь я не буду больше приводить с заиканиями – для экономии места. А когда она заговорит нормально – а она заговорила со временем лишь с некоторыми затруднениями в речи – я об этом скажу особо.)

Пришло время процедур, принесли капельницу.

Я встал.

– Розы тебе принесли роскошные. Но знаешь, они привозные, из стран далече. Я принесу наши, которые ты любишь. Всё, я пошёл.

Она снова кивнула, улыбнулась – улыбка тоже вышла другая, более естественная, чем прежде.

Я вышел на улицу. Состояние у меня было приподнятым, будто с плеч скатилась если не гора, то камень. Ну да, ей лучше, значит, она поправляется. Но главное-то не в этом, и я должен себе в этом признаться. Неужели помирились? Неужели всё прошло как дурной сон? Пусть она останется хромоножкой, пусть плохо говорит, лишь бы жила, лишь бы была рядом – вот о чём я думал тогда, вот в чём признаюсь и сейчас. Ведь слёзы её были искренними, значит, искреннее и раскаяние, а надо прощать не семь раз, но до «семижды семидесяти раз», по слову Спасителя. «Неужели я поднялся на такую высоту?» – спрашивал я сам себя. Неужели я действительно готов забыть оскорбления, которые она со злобой бросала мне в лицо? Обвиняла, что я бездельник, не могу содержать семью, ссылаясь на свои убеждения – я же ей выпалил, что не могу больше заниматься телевидением лжи, развращением народа. Я тогда отказался заниматься «развлекалкой» и «завлекалкой», стал выпускать православную передачу «В пути» – одну из первых в стране. Но эфир мне давали всё реже и реже, и денег домой приносил всё меньше и меньше. Стихи печатать вообще перестали, поэзия «самой читающей стране в мире» оказалась не нужна. Если раньше поэтические сборники всё же выходили, печатали поэзию государственные издательства и платили гонорары, то теперь надо выживать самому. Поэты оказались обречёнными на вымирание. Мне всё же пришлось легче, потому что я овладел многими телевизионными жанрами – и довольно успешно. А многим

моим друзьям осталось, как и в годы безвременья, снова идти в дворники или сторожа или грузить ящики с продуктами и тряпьем в торговых центрах, которые как грибы-поганки выростали, причём огромных размеров и уродливых форм, на месте прежних заводов, которыми совсем недавно гордился город и страна.

И вот я вернулся «на круги своя». Надо писать сценарий для Бори Мазуркина, заниматься «раскопками скандального убийства».

А Резвун? Неужели я буду молиться и за него, как того требует моя вера?

Но если нет, то почему я так легко шагаю по раскалённым тротуарам моего города и готов разреветься от... от чего?

От радости?

От того, что она обняла и прижала меня к себе?

Или совсем от другого, что называется иначе, что и произнести даже про себя я боюсь?

Это и есть то, о чём я много раз читал, но что испытывал только в храме? Это и называется благодатью святого духа?

Господи, если это так, спаси и сохрани, и укрепи...

Я пришёл уже к себе домой, а не в чужую квартиру, уселся за рабочий стол (он стоял не на прежнем месте, но всё же его не выкинули) и решил писать сценарий для Бори Мазуркина. Мне казалось, что это тягостное для меня занятие окажется нудным и тяжело выполнимым делом. Но удивительно, стоило мне набрать на ноутбуке заглавие сценария, как дело сразу двинулось вперёд, как нашлось решение сценария, от которого всё и зависит. Во мне сразу зазвучала музыка известной песни из «д'Артаньяна и трёх мушкетёров», такая популярная и такая весёлая, и под припев «пора, пора порадуемся на своём веку» я вместо «перьев на шляпах» и «острого клинка» стал вставлять, не нарушая ритма, все «позывные» фирмы Мазуркина, а также выгоды, которые она даст, если вы будете пользоваться её услугами. Тогда и будет радостно скрипеть не «потёртое седло», а ваши кошельки, которые растолстеют от прибыли.

Так неожиданное и даже весело придумалось ещё несколько пассажей, и к вечеру сценарий был готов.

Я испытывал облегчение, освободившись от тяжёлой ноши, удивляясь сам себе. Вот, оказывается, как бывает, когда душа обретает покой и не надо без конца царапать одни и те же болячки – чем чаще их трогаешь, тем сильнее они зудят и ноют. А заживают они, если их полить целительным елеем – встретив ответное чувство любимого человека.

Холодильник у Саши оказался пуст, я сходил в соседний магазин и набрал себе закусок и хорошего вина к ним. Устроился поудобней на кухне и поздравил себя и с освобождением от тяжкого бремени, и с окрепшей надеждой на конец моих мучений.

Если бы я знал тогда, что ждёт меня впереди!

Вино согрело, я улёгся на диван, вспомнил Шандора Петефи, венгерского поэта, бунтаря и остролова:

*Диван мой разлюбезный,
Удобный ты какой!
Нет, кто тебя придумал,
Тот был силен башкой!*

В гостинной плавали сумерки, в распахнутое окно повеяло вечерней прохладой. Со двора доносились крики детворы. Я не стал включать свет, и воспоминанья толпой двинулись на меня. Я увидел Сашу, когда ей было 27, а мне 37. Я пришёл к ним на творческую встречу, которую организовала Вика Смородина. Она в ту пору была у них «массовиком-затейником», устройте-лем встреч с «интересными людьми». А я в ту пору таким и являлся, как раз находился на пике моей популярности – в столице вышла моя книга, была и передача по ЦТ, короче, я вернулся из Москвы, обласканный славой. Потому и зал был полон, и в первых рядах сидела рядом с Викторией женщина, которую я сразу увидел, как только подошёл к микрофону и посмотрел в зал.

Повторяться нельзя, я хорошо понимал это – ведь они наверняка видели московскую передачу. Я не знал, как поведу разговор, надеялся, как всегда, на первые же слова, которые и поведут меня дальше. Я не понимал тогда, что это и есть подсказка сердца и здесь меня ведёт промысел Божий, или интуиция, как говорят учёные-атеисты. Я просто увидел молодую женщину с яркой внешностью, и что-то внутри меня дрогнуло, с минуту я смотрел только на неё. Когда главный редактор студии представил меня, сказав слова о «таланте, которого мы не замечаем, хотя он живёт рядом, всё гонимся за столичными знаменитостями», я и ухватился за эту мысль, поблагодарив многомудрого, но часто лукавого, как потом выяснил, Юрия Юлиановича Кротова. Я заговорил о провинции, о заповедном, тайном, что и есть суть России и её поэтов. Они негромкие, не лезут на эстраду, не кочуют с канала на канал, не светятся и в интернете, от которого сейчас спасу нет и который наступают на нас всё сильнее. Они, эти провинциалы, живут в Сростках, Ельце, ещё какой-нибудь Елабуге или уж совсем трудно произносимом Овстуге, а потом названия этих сёл, городков становятся известными России и миру. Я подчеркнул, что ни в коем случае не говорю о себе, а о наших провинциалах, многих из которых узнал лично и полюбил их стихи – уральских, сибирских, наших, волжских поэтов. И, чтобы завладеть вниманием зала, в подтверждение этих слов прочёл:

«Не искал, где живётся получше,¹⁰ / Не молился чужим парусам: / За морями телушка – полушка, / Да невесело русским глазам!

Может быть, и в живых я остался, / И беда не накрыла волной / Оттого, что упрямо хватался / За соломинку с крыши родной».

Но чтобы меня не приняли только за «русософила», «деревенщика», я заговорил о широте, необъятности русской души, о поэзии, которая может вмещать в себя и блоковскую скорбь, и пастернаковскую сложность, которая с годами всё же перешла у него в «неслыханную простоту». И в подтверждение этой мысли прочёл:

- *Что на Руси? Не таи.¹¹*
- *Господи, вьюга и вьюга.*
- *Как же там овцы мои?*
- *Господи, режут друг друга.*

¹⁰ Стихотворение уральского поэта А. Решетова.

¹¹ Стихотворение самарского поэта Е. Чепурных.

*Вьюга – и ночи, и дни.
След от могилы к могиле.
То ль осерчали они,
То ли с ума посходили.*

*Лютый, садись на коня.
Добрый, в слезах умывайся.
– Что ж, они верят в меня?
– Господи, не сомневайся.*

Время от времени я смотрел на женщину, которая так поразила меня. Она внимательно слушала, и перехватывала мой взгляд, и, конечно же, видела, что я заметил её.

И, сам того не понимая, я читал стихи для неё, а потом уже для всего зала.

Меня приняли хорошо, благодарил от всех собравшихся Юрий Юлианович, которого по телефону я назвал «Емельяновичем», когда секретарша сообщила мне, что со мной будет говорить главный редактор студии. Мы пошутили по поводу этой моей неловкости, я говорил с ним, а сам следил украдкой, не ушла ли моя красавица. Нет, не ушла, вот и подошла к столу, за который я уселся, чтобы подписывать свой сборник – они сумели закупить приличную стопку книг.

– Как вас зовут? – спросил я, посмотрев ей прямо в глаза. Они, как положено таким броской красоты женщинам, были голубыми.

Но я ошибся: один из её глаз оказался зеленоватого, ведьминоного цвета, другой тёмно-голубой – я это рассмотрел потом, а сейчас видел, как она, не моргая, выдержала мой пристальный взгляд.

– Александра, – сказала она. – Колотилина.

«Александр Колотилиной», – написал я размашисто и остановился, думая, что написать. За её спиной стояло ещё несколько человек, а я всё медлил.

– Знаете, я хочу вам написать одно стихотворение на память. Давайте я сейчас напишу всем желающим, а потом вам, хорошо? Вы подождёте?

– Ну что ж, хорошо. – И отошла от столика к поджидавшей её Вике.

Когда все желающие получить мой автограф отошли, я сосредоточился и написал строки из стихотворения Блока, которое знал ещё со студенческих лет, когда переживал «запой» поэтами Серебряного века:

*Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко
Взгляд надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблён».¹²*

И ниже приписал: «Это Блок. Я тоже Александр. Но сейчас чувствую, как и он».

Она прочла, что я написал, не дала книгу Вике, которая, улыбаясь, хотела прочесть надпись.

Сказала, прощаясь:

– Вы, Александр, слишком торопитесь. Так нельзя.

¹² Строфа из стихотворения А. Блока «В ресторане».

– Я боюсь, что вы сейчас уйдёте, и всё. Останется только «мимолётное виденье».

Вика засмеялась. Она была симпатичной, модной женщиной, обаятельной даже, и, как мне показалось, за время нашего недолгого знакомства посылала мне говорящие взгляды.

Она не могла не увидеть, что я впечатлён не ею, а её подругой.

– Внизу нас ждёт машина, – сказала Вика, подчеркнув слово «нас».

– Замечательно, – слишком поспешно отозвался я. И совсем осмелел. – Может, посидим немного, я вас приглашаю. Не хочется с вами расставаться.

Вика глянула на Сашу.

– Неудобно нашему поэту отказывать. А, Саша?

И Саша, слава Богу, приняла моё предложение.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. «СВИДАНИЙ НАШИХ КАЖДОЕ МГНОВЕНЬЕ МЫ ПРАЗДНОВАЛИ КАК БОГОЯВЛЕНЬЕ»¹³

Они предпочли не ресторан, куда я пригласил их, а квартиру Саши, потому что она сказала:

– В ресторане обязательно кто-нибудь пристанет. Можно посидеть у меня, дома сейчас никого нет.

Вика поспешно согласилась. Заехали в магазин, набрали вина и закусок, приехали к Саше, и, пока они накрывали на стол, переговариваясь и смеясь, я осматривался, стараясь понять, что же собой представляет хозяйка квартиры – ведь обстановка немало говорит о владельце. Но выбивалось из обычного современного благополучного жилища лишь замечательная фотография Саши, большого формата, в добротной раме, висевшая над диваном.

Саша была снята анфас, крупно, смотрит прямо на нас, строго, взыскующе. Чёлка, волосы чёрные, убранные в тугой узел, нос, как я уже сказал, с небольшой горбинкой, губы чувственные, скулы подчёркивают её волю. Красота наша, волжская, в которой есть и черты азиатские, смягчённые нежной русскостью. Как я скоро выяснил, она приехала с матерью в наш Кручинск из Саратова, а там крови перемешаны ещё больше, чем у нас, и оттого женская красота волжанок броская, более южного типа, казачьего.

Фотография цветная, и оттого голубые глаза особенно выделяются.

Заметив, что я рассматриваю фотографию, Вика сказала:

– Правда, она здесь похожа на Аксинью?

– Киношную? Что-то есть. Но я бы больше сравнил с молодой Ахматовой. Хотя и это сравнение хромает. У вас, Саша, свои черты. Своя красота. Но почему же я вас раньше не видел? Вы наверняка какую-то передачу ведёте, так?

– Да, «Юность», неужели не видел? – удивилась Вика, переходя «на ты».

– Не видел, – признался я. – Но теперь обязательно буду смотреть.

Не буду пересказывать весь разговор, как обычно, он перескакивал с пятого на десятое, шутили, смеялись, потом дружески попрощались, и Вика отвезла меня домой.

¹³ Строка из стихотворения Арсения Тарковского «Первые свидания».

Едва она уехала, не дождавшись от меня никаких сближающих нас действий, как я схватился за телефон и набрал Сашин номер, которым запасся ещё у неё дома.

Она, казалось, не удивилась моему звонку.

– Что же это Виктория отпустила вас? – иронически спросила она.

– Да потому, что она всё поняла. Как, надеюсь, и вы.

Она ответила не сразу.

– Я поняла, что вы поэт. И привыкли, что женщины вам уступают, стоит лишь вам за ними приударить.

– Ошибаетесь, Саша. Во-первых, я не бабник. Очень жаль, если таковым вам показался.

– А во-вторых?

– Во-вторых, как раз мне наставила рога моя первая жена.

– А вторая?

Я засмеялся, радуясь её остроумию.

– Вы хорошо дерётесь, Саша. Научились отбиваться от приставал.

– Жизнь научила.

– Понимаю. С вашей красотой... Скажите, у вас ведь тоже был неудачный брак?

– Почему это вы так решили?

– Ну, мне всё же положено быть наблюдательным. Профессия обязывает. Кольца-то у вас не приметил.

– Это ещё не аргумент. Не все кольца носят.

– Ну, сейчас ведь модно подчёркивать, что ты замужняя дама, а не какая-нибудь там свободных нравов красотка. Венчаться тоже стали ради моды. Совершенно не понимаю, что это значит.

– А вы понимаете?

– Да, понимаю. И в церковь стал ходить. Правда, нерегулярно. За что от батюшки своего регулярно получаю выволочки.

– У вас есть батюшка?

– Да, не так давно, но появился. Хотите познакомлю?

– Ой, не надо. Не хочу превращаться в наших «глубоко верующих» дам, которых подозрительно много развелось.

– Согласен. Лицемерия у нас предостаточно. Знаете, Саша, я вам скажу искренне, вот как на духу... Сегодня произошло что-то такое, не знаю, как объяснить... Да и не буду, слова всё равно не то скажут... Знаете, у меня за Волгой, в Преображенке, есть домик. Место очень хорошее я выбрал. Если бы нам с вами туда вместе поехать, покупаться, отдохнуть. Мне так хочется о вас побольше узнать. И чтобы вы меня лучше узнали. А к вечеру вернёмся. Завтра ведь воскресенье.

– У нас в воскресные дни самая работа.

– Ах да... Но, может, тогда не завтра, а в другой день? Не отказывайтесь сразу, прошу вас. Можно я завтра позвоню?

– Ну, звоните. Кстати, откуда у вас номер моего мобильного?

– А вот и не скажу.

– Вика?

– Ну что вы. Она же не намерена была вам уступить.

– Неужели? Тогда кто?

– Секрет открою, когда встретимся. Обещаете?

– Ну что же с вами делать, если вы такой настырный.

– Спасибо. Завтра позвоню, Саша. Знаете, у нас одинаковые имена. Это хорошая примета.

– Я в приметы не верю.

Так мы пикировались, но я не сдался и назавтра позвонил. И уговорил её поехать в Преображенку.

Этот день оказался одним из самых счастливых в моей жизни.

Ожидая её у речного вокзала, я волновался как школьник. К тому же, как будто специально, к причалам мимо меня торопливо шли, кивая мне, знакомые люди. Одни удивлялись, другие весело улыбались, и будто все они понимали, что я жду девушку. Слава Богу, никто из них не остановился, но кто-то неведомый будто специально выставил меня напоказ. А уйти с этого места нельзя, иначе я бы пропустил приход Саши.

Наконец она пришла. В футболке, броско расписанной крупными цветами, в джинсах, в бейсболке. За плечами у неё видел рюкзачок.

В этой экипировке она показалась мне совсем юной. Я взял её под руку и торопливо засеменил к причалу:

– Скорей, опаздываем!

Успели забежать на трамвайчик, даже нашлось нам свободное место, где сесть.

Она посмотрела на меня, иронически улыбнувшись:

– Валидолом запаслись?

Я не смутился:

– А как же. Я же понимаю, что значит быть рядом с красивой девушкой.

– Вот-вот, – согласилась она. –хлопотно, немолодой человек. И растратно. К тому же у меня сын. Четыре года.

– «Ни мороз мне не страшен, ни жара, – пропел я детскую песенку потихоньку, но всё же пожилая женщина, сидевшая рядом, дружески улынулась, посмотрев на меня. – Удивляются даже доктора...»

Но весёлость моя была показная. Конечно же, я сильно нервничал, когда звонил ей, добивался её согласия, когда ждал её у речного вокзала, то веря, то не веря в её приход, и сердечко у меня действительно ненормально стучало, и неплохо бы положить таблетку под язык, и не валидола, потому что это для меня давно пройденный этап, а чего-нибудь покрепче – названия этих лекарств я уже в ту пору хорошо знал.

Домик мой находился на отшибе села, среди сосен и ясеней. Редко, но попадались и берёзы, а около домика находилась полянка для костерка, рядом с которым я смастерил сиденья из пней. За домом рос кустарник, пройдя который по тропе, вы выходили на пляжик. На песке лежал отполированный ветрами и дождями старый осокорь – место для моих раздумий и сочинений.

Домик я огородил забором от дачников, любителей поискать укромное местечко и иногда и забраться в него.

В доме лишь всё самое необходимое – полки, стол, табуретки. На одной полке книги, на другой – посуда. Там, где книги, – икона Владимирской Божией Матери, под ней засохшие цветы.

Я раскрыл створки ставен, раздвинул занавески и открыл окна. Свежий воздух заполнил горницу, и ветерок пошевелил на стенах репродукцию картины Поленова «Московский дворик», отпечатанную на принтере.

Саши осматрелась, кивнула:

– Уютно. А не боишься, что залезут и всё испортят?

– Нет, не боюсь. На стене – бумажная репродукция. Я не только её, но и другие время от времени сам меняю, сам печатаю.

– А мебелишка-то у тебя какая... антиквар!

– Натюрлих. Если учесть, что всё сделал сам.

– Не обманываешь?

В её вопросах мне больше всего понравилось, что она перешла «на ты».

– Ничуть. Я отношусь к тем интеллигентам, которые прошли трудовую школу. Запиши это в плюс к моей характеристике – умеет всё делать сам.

– Так уж и всё?

– Ну, не всё, конечно. Но уху сварю, сама оценишь, какой она получится. А сейчас предлагаю переодеться и пойти искупаться. У меня тут отличный индивидуальный пляж.

Она опять хорошо улыбнулась.

Мой пляжик находился в стороне от главного, где купались дачники. Поэтому сюда редко кто заходил, тем более что сюда надо перелезть через мой забор. Поэтому чаще всего здесь пустынно. Саша зашла в воду уверенно, без жеманства, и я любовался ею. Поплыла по-мужски, вразмашку, выбрасывая руки из-за спины вперёд, сильно отгребая воду.

«Вот это да!» – сказал я себе и поплыл за ней вдогонку. Она уплыла довольно далеко и, когда я поравнялся с ней, повернулась ко мне лицом и неожиданно нырнула. Некоторое время находилась под водой, вынырнула уже далеко от меня и, отфыркиваясь, поплыла к берегу.

На берегу она сняла купальную шапочку, тряхнула гривой чёрных волос, собрала их в узел. На её теле блестели серебряные капельки воды.

Я смотрел на неё, и мне казалось неправдоподобным, что это я нахожусь с такой красавицей, что она не только рядом, но и добра ко мне, такому не то чтобы нескладному, но, скажем так, обычному, ничем не примечательному, кроме разве что стихов.

Мне казалось, что здесь, у воды, на песке, в одних лишь плавках, рядом с ней должен быть какой-нибудь Владимир Корнев, сыгравший Ихтиандра, или, на крайний случай, тот красивый парень, что сыграл островитянина поневоле в фильме, где он выброшен на берег необитаемого острова вместе со своей любимой после кораблекрушения.

И потому я изо всех сил старался расположить к себе Сашу тем, что я умею делать хорошо и, главное, от сердца.

Как потом выяснилось, всё это она сумела увидеть и понять.

Оставив её загорать на полянке перед домом, я сбежал на наш базарчик, купил рыбы и принялся готовить уху в чугунке по всем правилам рыбацкой науки. Рыбалку перенёс на следующий раз, когда у нас будет больше времени.

Уха получилась замечательной, и Саша её нахваливала, и мы её трескали, и даже выпили по стопке водки. Потом отдыхали, она в домике, а я под соснами, где у меня находилось местечко для гамака.

К вечеру я показал ей полянку, где ещё цвела богородка – особой красоты наша местная травка с нежно-лиловыми цветками.

– Это не простые цветы, – пояснил я Саше. – Ты их видела засохшими у иконы Богородицы. Они обладают целебной силой. Лечат от многих болезней, если богородку правильно сушить и потом заваривать. И добавлять в чай. И тогда Богородица придаёт этому настою особую благодатную силу.

– А от чего она лечит?

– От того, от чего попросишь. С молитвой, конечно.

– И всё она исполняет?

– Местные верят, что всё. Но они умеют горячо молиться.

Саша смотрела на стелющиеся почти по земле длинные ветви, на которых, как небольшие чаши, росли цветы. Нагнулась, приспосабливаясь, как бы их сорвать, чтобы лепестки не опали.

– Подожди. Я тебе срежу несколько пучков, вот так... чтобы не повредить корни. Ты увезёшь их домой. Иконы у тебя нет, поэтому возьмёшь мою, Владимирскую. Цветы положишь рядом. Пусть они засохнут и наберутся целебной силы. Тогда и заваривай чай, и пей его, чтобы твои желания сокровенные исполнялись. Или лечили тебя от недуга какого-то. Она лечит от многих болезней горла, лёгких, всяческих воспалений...

– Ну хорошо, цветки возьму. Но как же быть... с иконой? Она ведь тебе дорога?

– А дарить и надо самое дорогое.

– Правда?

– Правда.

– А молиться как?

– Я напишу. Молитва короткая. И очень красивая. Как всё, что связано с Богородицей. Нет, я не то сказал. Не просто красиво, а прекрасно!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. «РАДОСТЬ МОЯ, МЫ С ТОБОЙ НЕ ЗАМЕТИЛИ, ОСЕНЬ УЖЕ НА ПОРОГЕ У НАС»¹⁴

Лето стояло жаркое, и я предлагал Саше ездить ко мне в Преображенку, и она не отказывалась. Всякий раз я придумывал что-нибудь новое – прогулки в горы, в мои заповедные места, на рыбалку, а однажды я привёл её в полуразрушенный храм, от которого остались лишь стены да часть крыши. На ней выросло несколько тоненьких берёзок, а наверху уцелевшей капители прицепилась зелёная трава. На боковой стене сохранилась часть росписи: Богородица смотрела на Богомладенца печальными, всепонимающими глазами. Он сидел у неё на левой руке, ликом обратившись к нам. Там, где находился алтарь, тоже частично осталась роспись снятия с Креста Спасителя – фигура человека, который, стоя на лестнице, принимал Христа на руки, была видна лишь до пояса.

Я объяснял ей, что такое изображение лика Богородицы называется Одигитрией, то есть Путеводительницей, потому что правая рука указывает на Христа, что он есть путь, истина и жизнь, как сам и сказал ученикам. А вообще храм этот во имя иконы Казанской Богоматери. У местных жителей есть намерение храм восстановить, создана община. Я помог им написать обращение в епархию о возобновлении богослужений пока хотя бы по большим праздникам, которые называются двунадесятыми.

Она слушала, рассматривая остатки росписей, лицо её было серьёзно, взгляд грустен.

– Все же не понимаю, кому мешали храмы? Зачем надо было такую красоту уничтожать?

– А зачем священников расстреливали, живыми в могилы закапывали? Монахинь нашего монастыря на гнилую баржу посадили, за соседний остров увезли и оставили вместе с баржей тонуть. Понимаешь, Саша, веру надо было под корень истребить. Потому что она мешала строить безбожный мир. Поверить не в Бога, а в Ленина, в коммунизм.

¹⁴ Строка из стихотворения иеромонаха Романа (Матюшина) «Радость моя».

– Это понятно. – Она посмотрела на меня, пошла к проёму, где раньше находились Царские врата. – А вот ты как поверил? Тебе как это удалось? Или ты нашёл выигрышную новую тему? Модную?

– Поначалу – да, тема действительно меня увлекла. Я ведь давно занимался народными промыслами. А потом иконописью. Потом церковным зодчеством. А потом... Знаешь, я об этом никому не говорил. Хотя не было ни одной встречи, где бы меня не спросили о том, что ты сейчас спрашиваешь. Мне всё время казалось, что тут много лжи, выдумки. Что тут больше действительно моды, эдакой бравады – вот, мол, я не такой, как все. Пока однажды... Идём сюда, тут есть одно местечко... Сюда, вот по этой тропочке.

Мы вышли на взгорок, тут местные умельцы из спиленных деревьев сделали сиденье вроде скамейки, прибав к пенькам широкую доску. Вид отсюда действительно хорош – клёны, ясени, берёзы попеременно с соснами спускаются к берегу реки, открывая широкий водный простор. Видны, чуть в дымке, окраины нашего Кручинска, тоже горные, лесистые, украшенные купеческими особняками, ныне санаториями.

– Однажды я собрался в командировку, к одному батюшке, про которого прочёл в газете – небольшая такая заметочка попалась. Там написано, что этот молодой священник усыновил с матушкой своей около сорока детей. Думаю, вот пулевая будет передача. Приехали. Действительно – оазис любви и милосердия. Сами не только храм восстановили, но и дом для детей построили. Строят гимназию. Хозяйство своё – нечто вроде фермы. К себе привёз мать с отцом, сестру. Работают и местные, за плату, конечно. Но нашёл и попечителей, одолел всю бюрократию – ведь тогда не разрешено было Церкви подобные приюты открывать. Знаешь, меня поразил его паспорт: имена детей вписаны даже на полях – всех действительно усыновил этот отец Макарий. Только так и добился открытия приюта. Ну, всё сняли, ура... Едем домой. Звонок. Отец Макарий говорит: пока все на работе были, его дом подожгли. Сгорел дом! Говорю шофёру: едем обратно! Он ни в какую. Уговорили. Возвращаемся. От дома, где они с матушкой и несколькими детьми жили, – головёшки. Чёрные стены, обугленные, всё сгорело. А икона Казанская да ещё Спаситель, поясной, благословляющий, целы!

Я посмотрел на Сашу, она слушала внимательно, чуть улыбаясь странной, задумчивой улыбкой.

– И что же? – спросила она.

– Пожарные объясняют: лампадка горела, окно открыто. Дул ветер, вот и пожар. Отец Макарий: а почему тогда рамы на окне, где форточка, сгорели дотла? Не оттого ли, что в форточку бросили огонь? Пожарные: нет, тут ветер дул сильнее. Вот...

Саша не спускала с меня глаз:

– И поэтому ты в Бога поверил? Потому что иконы остались целы?

– Иконы, конечно, на меня повлияли. Но не это главное. Вечером на молебне в церкви я видел, как дети молились. Один пацанёнок мне особенно запомнился. Нерусский. Скорее, казах или киргизёнок... Потому что и креститься ещё не научился. А на иконостас смотрит, глазёнки в слезах, на коленочках стоит... Я подошёл к нему сзади... тихонько... Слышу, шепчет: «Боженька, помоги батюшке Макарилу... Он очень хороший... А этих, кто поджёт, накажи...» Понимаешь, Саша, этот киргизёнок так меня пронзил, что я и сам заплакал. Он ведь ни капли не сомневался, что был поджог. В отличие от пожарных. Отец Макарий сказал мне, что это, вероятнее всего, те рабочие, которых он за пьянку уволил.

Я умолк, потому что слишком живо всё снова предстало пред моими глазами.

Саша взяла мою руку.

– Ты какой-то... слишком чувствительный.

– Да, мне говорили. Но если не чувствовать... вера не придёт. Она не от головы. А от сердца.

Мы не уехали в тот день, остались ночевать. Нас устроили кого в доме для детей – там койки нашлись, кого по соседству с приютом. Я остался в доме, куда устроили и батюшку с матушкой. Долго мы не ложились, говорили о многом... И вот тогда, понимаешь, Саша, ни капли злобы, ни даже раздражения у отца Макария я не заметил. Он мне тогда говорил, что испытания даются Богом для того, чтобы мы сильнее верили. Что вера наша только так и даётся. А то, что иконы Спасителя и Богородицы целы остались, это верный знак как раз того, что они нас не оставили. И говорил это так твёрдо и уверенно, будто Бог – вот здесь, сидит рядом, за этим же столом.

– Теперь я кое-что поняла, – сказала Саша.

– Про то, как приходит вера?

– Не только. Про тебя.

– И что же? Хоть немного я нравлюсь тебе?

– Нравишься. А больше всего тем, что не пристаёшь.

– Ну, вот сейчас и пристану. Всего с одним вопросом.

– Каким?

– Выйдешь за меня замуж?

– Ты серьёзно?

– Куда уж серьёзней.

– Я как-то не думала. Вернее, не ждала. – Она встала, давая понять, что пора идти к моему домику.

Я тоже встал.

– Так как?

Она пошла то тропинке к храму.

Молчала.

И я молчал.

Ждал, что она скажет.

Когда зашли в перелесок, где было тенисто, прохладно, она остановилась. Повернулась ко мне лицом.

– У меня ведь скверный характер. Я очень самолюбива. Эгоистка.

– Красивые женщины все такие.

– И ты не боишься?

– Ты меня пронзила, Саша.

– Как тот киргизёнок?

– Ещё сильнее.

– Поцелуй меня.

Это был наш первый поцелуй и потому самый сладостный.

Пришли ко мне, стали собираться домой.

Она спросила:

– Всё-таки... Неужели так и происходит... внезапно? Вдруг?

– Ну да. Конечно, перед этим решением внутри тебя что-то происходит... сам не понимаешь, что. Да и не надо понимать, Саша! Как начнёшь объяснять, мудровать – всё будет не то! Веру нельзя объяснить. Как любовь.

– Идём. А то опоздаем на трамвайчик.

Не опоздали. Стояли на палубе, опершись о перила. Смотрели, как солнце скатывается к дальним увалам, окрашивая воду в розовые тона. Вете-

рок шевелил её волосы, выглядывающие из-под косынки. И эта её чёлка, и косынка, и лицо стали теперь близкими, родными, и я так смотрел на неё, что она улыбнулась и вдруг положила мне свою голову на грудь и обняла.

И я понял, что она согласна быть моей женой.

Стоит ещё рассказать, как мы официально зарегистрировали наш брак – венчаться она отказалась, сославшись на то, что не знает точно, крещена или нет. Я не спорил, был на седьмом небе от счастья, загс так загс, повенчаемся потом. Но я не знал тогда, что Божьего благословения на наш союз нет, и родительского тоже, а значит, плохо будет мне. Но разве думаешь о таких церковных правилах, нарушать которые нельзя? Да и кому нужны они, эти правила, давно забытые и ненужные нам, просвещённым людям уже нового, двадцать первого века?

Вперёд, в загс!

И вот мы стоим в просторном зале перед столом, за которым сидит дама средних лет, ухоженная, молодящаяся, в светлом модном костюме, с причёской наимоднейшей, с эдаким кандебобером ото лба наискосок.

Здание старое, в нём идёт запоздалый ремонт. Высокое окно открыто, этот поздний осенний день выдался тёплым, солнечным.

Дама заполняет нам брачное свидетельство, вот-вот грянет свадебный марш Мендельсона, как вдруг раздаётся металлический скрип, и подъёмная тележка строителей застревает как раз у высокого раскрытого окна.

На тележке стояли двое мужчин, в заляпанных робах, в треуголках из газет, с мастерками в руках. Один из них, что помоложе, радостно улыбнулся, увидев нас. И приветственно помахал мастерком.

Я не выдержал и засмеялся.

Дама оглянулась, увидела строителей и показала им рукой, чтобы они ехали дальше, вверх.

Второй строитель, постарше, громко крикнул: «Вира!»

Тросы закрипели, тележка поднялась чуть выше, но снова застряла.

Теперь строителей стало видно чуть выше пояса.

Тот, что помоложе, присел на корточки, продолжая радостно улыбаться.

Развёл руками: мол, чего там, тележка такая, техника подводит.

Дама отвернулась от окна, натянуто улыбнулась нам:

– Простите, прошу вас. Ремонт...

И фотографу:

– Ради всего святого, не снимайте!

– Отчего же! Прекрасный кадр! – весело ответил фотограф со студии, Костя, быстро щёлкающий спуском «Кэнона». – Строится новая жизнь!

Молодой строитель поднял большой палец. А старший опять громко крикнул: «Вира, мать твою!»

И в это время грянул марш Мендельсона.

Мы поставили свои подписи, поцеловались, и боковым зрением я видел, как тележка наконец дёрнулась, но поехала почему-то вниз, а не вверх. Молодой строитель, сидящий на корточках, повалился, схватившись за ногу товарища. Тот от неожиданности вскрикнул, взмахнул руками и снова вспомнил чью-то мать.

Приглашённые на бракосочетание вели себя по-разному: телевизионные смеялись, пили шампанское, мать Саши, Вероника Игоревна, что-то выговаривала брачующей даме, муж её, отчим Саши, пытался остановить жену, смеялись и огорчались – в общем, всё было радостно и отчего-то грустно, бестолково и глуповато.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. «ДЕТИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ»¹⁵

Через несколько дней мне позвонил Каширкин.

– Приезжай, есть новости.

И вот я снова в Купавино, и снова погружаюсь в пучину человеческой грязи. И снова удивляюсь, и в который раз задаю себе один и тот же вопрос: почему людей так тянет узнавать и пересказывать друг другу подробности злодеяний? Это вошло в нашу кровь и передаётся на генном уровне? Но ведь мы живём не в Англии, не во Франции или Испании, где сгоняли людей на площади и заставляли смотреть казни. А иные и сами шли поглазеть, как будут казнить или сжигать, и с той поры ввелось в нас это позорное любопытство к мучениям и преступлениям. У нас редко сгоняли на площади, чтобы смотреть, как вешают, например, декабристов. Но в душе-то у каждого всё равно прячется то же самое преступное любопытство: а что там страшенького произошло? А почему он убил? А как убивал? А она что? А он?

Я говорю об этих подлостях наших, потому что в Купавино кто только не говорил об убийстве Ольги Соловьёвой, не высказывал свою точку зрения и не отстаивал её даже до горячности и убеждённости в своей правоте.

И мне пришлось вдосталь наслушаться и наесться этой отравы.

– Слушай сюда, – говорил Каширкин, уставясь на меня маленькими везделивыми глазами.

Мы снова сидели в его квартирке друг против друга. На этот раз на столе лежала лишь папка с бумагами, которые он время от времени выхватывал из неё, как многоопытный картёжник из колоды выхватывает карты.

– Вот показания Ануфриевой Василисы Прокофьевны. Она шестого мая видела Кузина на мопеде с кузовом, к нему приспособленным – такое у него транспортное средство. Он проезжал мимо её дома к той самой роще дважды: то есть сначала около двух часов дня, а потом через минут двадцать – обратно. И кузов был нагружен и закрыт наглухо брезентом.

Он смотрел на меня, ожидая, какой эффект произвели на меня показания этой самой Ануфриевой.

Я молчал.

Каширкин усмехнулся и стал разъяснять мне, как нерадивому школьнику:

– Выходит, Кузин привёз в рощу убитую Соловьёву и там закопал тело.

Я ждал пояснений.

– Молчишь? А вот ещё одно показание: Попцова Агния Ивановна, соседка и подруга известной тебе Соловьёвой, видела этого же числа в саду, в беседке, как Кузин Дмитрий объяснялся с Соловьёвой. После того, как Ярцев Андрей Витальевич уехал на своём автомобиле «Ауди». Из беседки Соловьёва быстро ушла от Кузина, а тот побежал за ней, что-то крича. Догнал, она упала, и он упал. Потом они скрылись в доме. Попцова заподозрила неладное, так как Соловьёвой-старшей дома не было. Но идти в дом к соседке она всё же не решилась, хотя и слышала громкие крики. Потом крики затихли, послышался только стучащий мотор мопеда Кузина. Теперь понял?

– Ты решил, что он её убил прямо в доме?

– А в этом он и сам признался, когда я его припёр. Вот, читай.

И он вытащил из своей папки козырной туз – признание самого Кузина.

¹⁵ Строка из песни К. Кинчева, лидера группы «Алиса».

Я читал и глазам своим не верил: шестого мая, он, Кузин Дмитрий Петрович, в состоянии крайнего аффекта, после объяснения с Соловьёвой Ольгой, которую считал своей невестой, получил от Соловьёвой заявление в приказном порядке не смей больше появляться в её доме. Ещё она сообщила, что беременна от Ярцева Андрея Витальевича, своего преподавателя. Это заявление так подействовало на Кузина, что, не помня себя, он схватил нож, лежащий на столе, и ударил им Соловьёву в грудь. Она крикнула, попыталась убежать. Он поймал её и ударил ножом в спину. Сколько раз ударял, не помнит. Очнулся только после того, как тело её обмякло и она затихла. Осознав, что натворил, он прибрал в комнате, вытер кровь, завёз своё транспортное средство, то есть мопед с кузовом, во двор дома, погрузил в него тело Соловьёвой, закрыл его брезентом и отвёз в указанную выше рошу. Там его зарыл в ближайшей яме.

Пересказываю показания Димы Кузина близко к тексту – мне запомнились и «транспортное средство», и прочие канцеляризм, записанные Каширкиным со слов Димы Кузина.

Окно на балкон открыто, но всё равно в комнате жарко. Правда, работает вентилятор, который Каширкин поставил в угол комнаты.

Странное чувство овладело мной. Вроде бы надо успокоиться, Каширкин во всём разобрался, нашёл подлинного убийцу. Но почему-то это признание, написанное на казённой бумаге казённым языком, произвело на меня угнетающее впечатление.

Себе я объяснил своё состояние тем, что узнал об убийстве не из книги, а из реального документа, полученного реальным следователем Николаем Каширкиным.

– Скажи, Николай, а как он давал показания? Так сразу и признался?

Каширкин даже встал, хохотнув.

– Ну ты даёшь! Ты даже представить не можешь, как мне пришлось, но я его к стенке прижал! Прежде чем он раскололся! Квасу хочешь?

– Нет. Дай воды.

– У меня тут есть. – Он прошёл к холодильнику, открыл его. – «Волжанка». Будешь? Наша, неплохая.

– Давай. Но всё же... Он ведь мог отвертеться. Свидетели – бабки пожилые, наверняка. В окошко видела... На месте преступления не была... Она ведь не заходила в дом? А мать когда появилась, как её...

– Наталья Ивановна.

– Что показала?

– Ну, чтобы какие-то улики... Кузин хоть в аффекте, но о своей шкуре всё же позаботился – подтёр и замазал, как говорится.

– Так зачем же признался, если «подтёр и замазал»?

– Замазать всё нельзя, запомни на будущее! – раздражённо сказал Каширкин. – На его драндулете кровь осталась. Я выяснил! – Он налил в стаканы минеральной, один пододвинул ко мне, свой взял и жадно стал пить. Я обратил внимание, что он стал раздражаться, говорить милицейски-назидательно, командирски.

– Не пойму, тебя, Саша. Я друга твоего спас, а ты губы надул. Ты чего, в самом деле?

– Извини, Коля. Это я так, устал. Свои заморочки. Ты молодец, конечно. Так оперативно, быстро... Просто не верится!

– Наш Маланкин сейчас в управлении, докладывает. Ваши, областные, окажутся... сам знаешь где!

Он засмеялся, но нехорошим мне показался этот смех.

Внезапно оборвал смех и посмотрел на меня.

– Та-ак... Теперь давай решать, кого пригласим на передачу. Думаю, мать Соловьёвой на телевидение не пойдёт. Слишком переживает, хотя умеет держаться. Ну, ты сам видел. И Кузина... От неё трудно будет отделаться. Из кожи лезть будет, спасать сыночка. Она шибко грамотной себя считает. Как же, в больнице работает! Всего лишь терапевт, а держится как главврач. И предупреждаю: на тебя набросится с обвинениями – вот увидишь.

– С обвинениями? Какими же?

– А такими! Она уже мне заявляла, что ты купленный журналист.

– Знаешь, Николай, давай к ней сходим. Хочу заранее на неё посмотреть.

– Вот это правильно, – Каширкин смягчился, дружелюбно глянул на меня, снова сев к столу. – Идём дальше... Соседка, Попцова, пожалуй, подойдёт. Горластая, правда. Но это ничего... А вот Ануфриева – баба пустая. Её вычеркнем. Лучше взять кого-то из пацанов, кто Кузина хорошо знает. Я подберу.

Меня покорило, что он берёт на себя мою работу, да ещё командует.

Но осадил себя. Потом сам отберу людей. Сейчас пусть ведёт меня по своим следам.

– Кузина сейчас уже дома. Можем ехать. И сынок дома – я ему приказал из дома никуда не высовываться. Решили под стражу пока его не брать. Но наблюдения не снимать.

Дом Кузиных мало чем отличался от соседних на улице, сплошь застроенной особняками уже нового образца: стены облицованы блестящим на солнце сайдингом, крыша матово отсвечивает красной черепицей, окна пластиковые – всё как у людей с достатком, не отстающих от жизни. Нет разве что автомобиля у гаража. Но мопед с кузовом есть, и магазинчик тоже, значит, Дима вполне мог скоро обзавестись не только «Ладой», но и какой-нибудь иномаркой, не хуже, чем у Ярцева.

Но вот попался в лапы нашей местной Кармен, и планы рухнули.

Я представлял Кузину вроде той врачихи из нашей «машиностроительной» больницы, которую встретил в памятную майскую ночь. Но дверь нам открыла невысокого роста женщина, худая, коротко стриженная, с острым носом, на котором укрепились маленькие очки в оправе из серебристого металла.

Женщина пристально и враждебно смотрела на нас сквозь эти очочки.

– Здравствуйте, Ираида Максимовна, – сухо сказал Каширкин. – Мы к вам по известному вам делу.

– Это зачем? Мало нам нервы трепали? Ещё надо?

– В ваших интересах, Ираида Максимовна. Неделин Александр Сергеевич, известный телеведущий и писатель, желает вам задать несколько вопросов.

– А-а, Неделин! Жареным запахло! Уже слетаетесь как вороньё. Ну, проходите, проходите.

В гостиной, у двери в дальнюю комнату, стоял Дима Кузин. Наш Хосе¹⁶, если продолжить сравнение с повестью и оперой. Вид у него, правда, сильно отличался от оперных красавцев. Он скорее походил на какого-нибудь солиста районной рок-группы – длинные волосы почти до плеч, майка с изображением неведомого мне кумира во всю грудь, шорты из джинсовой ткани, голые ноги, обутые в кроссовки. Выше среднего роста, лицо бледное, щёки

¹⁶ Имеются в виду повесть П. Мериме «Кармен» и опера Ж. Бизе.

впалые, нос остренький, материнский. Правда, больше размером. Смотрит настороженно, глаза усталые, больные.

Каширкин прошёл к столу, отодвинул стул.

– Присядем? – обратился он к хозяйке, положив папку на столешницу. И, не дожидаясь разрешения, по-хозяйски сел. – И ты, Дмитрий, садись. У Александра Сергеевича и к тебе вопросы. Так? – обратился он ко мне и указал на диван, стоящий у стены. – Ну, неудобно, Ираида Максимовна. Можно подумать, известные не только у нас, но и в России люди у вас каждый день бывают – так вы Александра Сергеевича встречаете, даже сесть не приглашаете.

– Садитесь, чего китайские церемонии разводить?

И врач-терапевт уселась напротив Каширкина, глядя ему в лицо. Мне даже показалось, что сейчас она спросит: «Ну, на что жалуетесь?»

Но Ираида Максимовна сказала:

– Чтобы у вас не было никаких сомнений, сразу скажу: мой сын не убийца. В это никогда не поверю ни при каких ваших доказательствах.

– Это почему же? – иронически спросил Каширкин.

– Потому что я слишком хорошо его знаю.

– Но факты, Ираида Максимовна. Например, следы крови на кузове мопеда.

– Это я поцарапался, когда упал, – визгливым голосом возразил Дима.

– А когда упал?

– Тогда, в тот день...

– То есть в день убийства?

– Да! Я бежал за ней в саду. Упал, вот и покорябался...

– Ага, значит, бежал. А зачем, спрашивается, бежал? Почему не мог спокойно пойти? Сам говорил, что она тебе от ворот поворот указала. И пошла в дом. А ты вдруг за ней бросился в погоню. Так?

– погодите! – вступилась за сына Ираида Максимовна. – Вот такими вопросами вы и вынудили Диму признаться, в чём он не виновен!

Как мне показалось, нос у неё ещё более заострился, потому что она подтолкнула очки к переносице и вся даже вперёд подалась к Каширкину.

– Юноша отвергнут любимой девушкой – это для него удар, шок, почему же он не может побежать за ней, упасть? Самые естественные реакции! Почему их в расчёт не принимаете?

Каширкин выставил вперёд ладонь, успокаивая Ираиду Максимовну.

– Не будем слишком волноваться. Задавать вопросы по существу дела – моя обязанность.

– Ну да, обязанность! – тут же отпаривала она. – Обязанность загонять в угол невинного мальчишку!

Голос её взвился, стал тонким и хриплым.

– Успокойтесь, Ираида Максимовна. Разговор только начался, а вы... Александр Сергеевич, вы о чём бы хотели спросить Дмитрия или его мать?

Я понял, что в таком составе разговор у нас не получится. Надо отдельно говорить с Димой, потом с матерью. А сейчас... Может, посмотреть его комнату? Она может кое-что сказать.

Я вслух сказал об этом.

Каширкин хмыкнул.

– Я потом к вам зайду, Николай Иванович.

Ушёл он только после того, как сделал несколько внушений Диме, предупредив, что побег бессмысленен и приведёт лишь к отягчающим вину обвинениям. Подчеркнул повышенным голосом, что нужно держаться уже «достигнутых договорённостей».

Когда стук мотора затих, я попросил Диму показать мне его комнату.

– Вы что же, по телевизору её показывать хотите? – враждебно спросила Ираида Максимовна.

– Только с вашего разрешения. А сейчас я просто хотел поговорить с Дмитрием наедине. А потом с вами.

Она согласилась.

Стены комнаты Димы оказались завешаны афишами: одна самодельная, другая типографской печати. Обе рекламировали рок-группу «Алиса» и её лидера. Однако на футболке Димы изображён какой-то иной кумир – видимо, «Алиса» для Димы теперь пройденный этап. Под афишами висела почётная грамота в рамке, а на полке стояла игрушечная фигурка гитариста. Как скоро я выяснил, этого приза Дима удостоился на районном музыкальном фестивале. На столе лежали магнитофон, многочисленные провода, микрофон – Дима записывал «композиции». Играл на гитаре, которой было отведено место на отдельном стуле. Под ним я увидел гантели.

Все эти предметы дали мне возможность начать разговор так, чтобы подойти к интересующим меня вопросам исподволь, не отпугнуть его от главного, что меня интересовало.

– А вот эту афишу ты нарисовал? – спросил я, указывая на орущего во всё горло певца, изображённого во весь рост с гитарой наперевес, как с автоматом, нацеленным на нас.

Он утвердительно кивнул.

– Неплохо. – Одобрил я. – Скажи, Ольга была у вас солисткой?

Он опять кивнул:

– До университета. Потом бросила.

– Почему?

– Да так... Сказала, это школьные забавы.

– Но ведь у неё неплохо получалось.

– Откуда вы знаете?

– Да вот же грамота висит. Элементарно, Ватсон.

Он улыбнулся.

– Скажи, ты хорошо школу закончил? Без троек?

– Зачем это вам?

– Чтобы тебя защитить. Ведь у тебя был приступ ревности, который и помутил разум. Ты слишком сильно её любил и потому себя не помнил в ту минуту...

Лицо Димы покривилось, странный звук, тонкий, высокий, вырвался из горла. Он закрыл лицо руками, русые волосы свесились на грудь.

Дверь резко распахнулась, в комнату влетела Ираида Максимовна. Бросилась к сыну, обхватила его за плечи, гневно глянув на меня:

– Видите? Видите, до чего вы его довели?

Я промолчал, дав успокоиться и Диме, и его матери.

– Чтобы смягчить наказание, надо собрать как можно больше аргументов в пользу Димы. Теперь я знаю, что он неплохо рисует, играет на гитаре. Можно устроить его оформлять комнату отдыха – теперь такие в исправительных учреждениях есть. Будет писать плакаты. Выпускать стенгазету.

– Вы говорите так, будто решение суда уже состоялось.

– Ну, можно добиться, если сильно постараться... и если мать Соловьёвой не очень мстительна – а она мне показалась женщиной с добрым сердцем, – можно добиться не заключения, а наказания в виде исправительно-трудовых работ. А они могут быть при таких вот комнатах, которые раньше назывались «красными уголками». В управлении милиции, например. Я там у них однажды выступал – у них даже литературная студия была.

Ираида Максимовна уже без злобы смотрела на меня, всё ещё держа сына в объятиях. Но он освободился от них, отодвинулся от матери, вытер лицо платком, который она дала ему.

– Я изучила статью 107 Уголовного кодекса. лейтенант Каширкин указал. «Убийство, совершённое в состоянии аффекта». Там действительно говорится о таком виде наказания, как вы сказали.

– Ну, и я, значит, не ошибся. Однажды пришлось похожим делом заниматься. Значит, надо запастись как можно большим числом сильных аргументов в пользу Димы. Начать с внешнего вида. Обязательно подстричься. Суд, скорее всего, будет осенью, и надо надеть костюм. Галстук не обязательно. А обязательно сказать, что Дима не стал поступать в вуз, а занялся бизнесом, потому что видел, что вы, Ираида Максимовна, слишком сдали, здоровье у вас ухудшилось, понимаете?

– А может, – начала она и остановилась, глядя на сына, – может, сказать...

– Нет, не надо, – возразил он.

– Но Александру Сергеевичу... может, сказать? Мы же видим, что он...

Дима передёрнул худыми плечами.

Ираида Максимовна приняла это движение как знак согласия.

– Понимаете, Дима хотел Оле доказать, что он может содержать семью. И в последнее время доход от его магазина стал расти. Мы уже стали подумывать о покупке автомобиля. А жить они вполне могли в нашем доме. Вы же видите, у нас приличный дом. В конце концов, можно было со временем перебраться в Кручинск, дом продать, купить квартиру, раз она на телевидение рвалась. Всё можно было устроить. Но она...

Ираида Максимовна внезапно замолчала, закрыла лицо руками. Слишком резко это сделала, и очки её едва не слетели на пол. Она их успела подхватить.

– Ольга Соловьёва была слишком самолюбива, – пришёл я на помощь Ираиде Максимовне. – Она хотела как можно быстрее добиться карьерного роста. Мне об этом Андрей Ярцев рассказал.

При упоминании этого имени мать и сын одновременно быстро глянули на меня.

– Придётся с ним встречаться, никуда не денешься. Приготовьтесь к этому.

Дмитрий изменился в лице, побледнел.

– Вот кого бы я, – тихо сказал он, – кого бы я... действительно...

Мать резко дёрнула его за руку.

– Ты что? Опять?

– Ничего... я так... извините.

Я уловил нечто необычное в лице Кузина. И он мне показался не маменькиным сынком, который «для прикида» отрастил длинные волосы, играет в рокера и хочет гонять на «Вольво» или на «Киа», а на самом деле способным на тяжкий поступок.

Я попрощался с Кузиными, сказал, что обязательно встретимся в ближайшее время, вышел на улицу.

Встретиться с Каширкиным мне не хотелось, и я пошёл на автостанцию, намереваясь добраться домой рейсовым автобусом.

И пока шёл по жарким улочкам Купавино, вспомнил, как зовут лидера группы «Алиса». Рок-музыку я терпеть не мог. Тем более все эти «музыканты» сплошь подражатели заморским «звёздам», которые завоевали теперь всю Европу, не говоря уже про Штаты, собирая тысячи молодых людей, бес-

нующихся под грохот ударных и электрогитар. Но попадались среди множества их «композиций» и неожиданно приличные песни в духе Высоцкого – яростные, с привкусом отчаяния. Одну из них я слушал на какой-то вечеринке, и она запомнилась. Называлась она броско: «Дети последних дней».

И там были такие строки:

*В этой войне всё было как в кино,
Плавился шар, камнем летел на дно,
Чёрное дно грязных, слепых страстей.
Празднуют миф дети последних дней.*

Последние две строки врезались в память и прозвучали сейчас в моём сознании, когда в автобусе, сидя в кресле, я закрыл глаза и увидел самодельную афишу Димы Кузина с орущим рокером в полный рост, с электрогитарой наперевес, нацеленной на нас, как автомат Калашникова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. «И ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ: «Я РУССКИЙ». И БОГ ЗАПЛАКАЛ ВМЕСТЕ С НИМ»¹⁷

Я шёл к отцу Афанасию с чувством смутной тревоги. Мне казалось, что сегодня произойдёт что-то необыкновенно важное для меня. Может быть, потому, что все последние дни мне не давала покоя мысль, что я делаю не то и не так, как надо. Хотя, вроде, по внешним признакам всё шло хорошо.

Саша уже почти месяц находилась дома и день ото дня чувствовала себя лучше и лучше. Всеми бытовыми делами занималась Дуня, она же Авдотья Михайлова, которую Вероника Игоревна, мать Саши, отрядила к нам в помощь. Из Карловых Вар они с мужем приехали примерно через неделю после того, как Саша слегла, и принялись разыскивать «самых лучших специалистов, которые есть в нашем Кручинске», как выразилась Вероника Игоревна.

«Специалисты» появлялись в нашем доме в строго определённое время, но на некоторые процедуры приходилось везти Сашу на машине.

Саша уже стала делать первые шаги, опираясь на костыли новейшей конструкции, но всё же её приходилось поддерживать. Этим занимался я, а когда был занят, то Дуня.

Следствие по делу Ольги Соловьёвой шло к завершению, и отклонения от того плана, который предложил Каширкин, были незначительными. К делу добавились лишь новые доказательства того, что убийство совершил в состоянии аффекта Дима Кузин.

Передача моя была готова, и мы только ждали решения суда, чтобы выйти в эфир.

Казалось, что особо волноваться не стоило, но внутреннее беспокойство не покидало меня.

Отец Афанасий встретил меня в своём кабинете, который находился на нижнем этаже храма. Здесь помещалась трапезная, которая легко переделывалась в зал для занятий воскресной школы или для бесед с прихожанами на разные темы.

¹⁷ Строка из стихотворения Н. Зиновьева «Я русский».

Отец Афанасий сам определял предмет разговора, как правило, наиболее злободневный. Был он по старинке прост в обращении, говорил всем понятными словами, избегая излишних речевых красот. Правда, любил и хорошо знал множество притч и народных присказок и поговорок, иногда настолько острых, что приводил в смущение прихожанок, особенно из интеллигенции. Он, видя это, хитро улыбался, щуря свои подслеповатые глаза, и неизменно смягчал остроту более пристойным послесловием. А если и это не помогало, ссылался на «Пословицы и поговорки» Владимира Даля, а особенно на песни, собранные Петром Кириевским, где встречались выражения, ныне относящиеся к непечатной лексике. Старые тома этих народных мудростей стояли тут же, в шкафу.

Невысокого роста, сутуловатый, как лунь седой, он производил впечатление человека не нашего, а какого-то другого времени, может быть, даже начала века двадцатого, хотя ему ещё не было и восьмидесяти лет. Но о чём бы вы с ним ни заговорили, он подхватывал тему, рассуждая о сказанном вами, будто сам был участником тех событий, о которых шла речь. Отца Афанасия любили, прощая ему резкости и колкости, а иногда и гневные тирады, и раздражительность от нерадивости или бестолковости служащих с ним рядом. Впрочем, гневался он недолго, замыкался на несколько часов, реже на день, ни с кем не разговаривая.

Именно в такое время я и пришёл к нему.

Он сидел с краю стола и пил то ли чай, то ли какой-то напиток, заглядывая в большую фаянсовую кружку, словно ища в ней что-то.

– А, ты... – сказал он, увидев меня. – С чем пожаловал?

Я подошёл под благословение. Он положил ладонь на мою голову и показал на стул, стоящий рядом. – Этого пойла хочешь? Просил мяты заварить, так эта дура перестаралась, пить невозможно. Аж в нос шибает.

– Зачем же пьёте?

– Дак ничего боле нет. Пробуй.

И налил мне чаю в кружку, которая стояла тут же, рядом с заварочным чайником.

Мяты действительно было положено многовато.

– Марья! – позвал он. – Неси чего-нибудь сладкого. Вишь, гость приплёлся. Опять будет жалиться, какой он несчастный.

– Угадали, батюшка. Смута на душе.

Марья, помощница его, старая, но быстрая, несмотря на полноту и большие ноги, принесла блюдо, сплетённое из древесных ветвей, на котором лежали пряники, печенье, самые разнообразные конфеты.

– Бери, питайся. Смута и пройдёт.

– Спасибо.

– Спасибо потом скажешь. Ну, какая грусть-тоска тебя съедает? Опять какую гадость проглотил?

– Да, батюшка.

И я рассказал подробности про Сашу, которая не верит, что выздоровеет. Капризничает, истерики случаются всё чаще.

Потом перешёл на Димку Кузина, который как баран идёт на закляние. Чем больше узнаю про его жизнь, про характер, тем больше понимаю, что он внушаемый, слабовольный. Мать его рассказала, что он пытался себя закалить, но «закалка» кончалась так же быстро, как и начиналась. А душа у него в общем-то хорошая. Но боюсь, как бы не наложил на себя руки.

– С пролежнями и постель не мягка, – подытожил отец Афанасий. – Попалась собаке блоха на зуб. Ничего здесь не поделаешь.

– Но мне-то как быть?

– Охо-хо, – вздохнул он и поглядел на меня жалостливо. – Летела муха-горюха, попала к пауку в тенёта. Теперь что ж, терпи.

– Из этих тенёт, не знаю, как выбраться.

Он отставил бокал, вытер рот платком, придвинул ко мне блюдо со сладостями.

– Да ты особо не горюй. Знаешь, сколько помоев на меня каждый день выливают? Если по каждому случаю сильно сокрушаться, давно бы знаешь где был? А что меня с вами, сердешными, здесь держит? Боюсь попасть туда, – он указал пальцем вверх. – Придётся языком раскалённые сковородки вылизывать.

Я улыбнулся:

– Вы, батюшка, не теряете бодрости духа. Мне бы так научиться.

В ответ он строго спросил:

– Ты вот что скажи: тёща-то твоя как? Помогает? Или всё советы даёт, как лечиться?

– Примерно так. Теперь всё чаще заводит речь о Германии. Какую-то клинку там нашла. Лечение стоит примерно миллион.

– Ага. Тебе что, с кистенём на большую дорогу выходить?

– Ну да. Тесть советует взять кредит. Говорит, может устроить.

– И ты согласился. И ещё его благодарил.

Я развёл руками.

– А что делать, батюшка. Немецкие методики, говорят, самые лучшие.

– Методики! – он насупился, сдвинул седые брови. – Своё-то добро, небось, прячет. Ловкому вору всякий сапог впору. Марья! Где-то у тебя наливка припрятана. Доставай!

Марья пошла к шкафу, стоящему в дальнем углу комнаты, достала оттуда графинчик с рубиновой жидкостью. Отец Афанасий потребовал рюмки, наполнил их.

– Это сливовая. Один генерал принёс. Говорил, по собственному рецепту.

Он мелко перекрестил рюмки с наливкой, пригубил.

– А? Как генеральские методики? – пригубил ещё. – Ничего! А?

Я согласился.

И решил рассказать ему то, что давило на сердце.

– Знаете, батюшка, кредит брать я отказался. Хотя Вадим Сергеевич, мой тесть, говорил о небольших процентах. Возьму в долг у друзей. Но и это не главное. Этот человек, к которому Саша в Москву убегала, Ревун фамилия, сейчас здесь.

Отец Афанасий удивлённо вскинул голову.

– И что же? Кот лазит в окошко?

– Да. Сашина подруга сказала мне, что он добивается встречи. Предупредила, чтобы я был начеку. Будто я могу что-то сделать.

– Конечно, можешь, – быстро откликнулся он. – Например, морду ему набить. Это лучше всего и подействует.

– Да ведь я серьёзно, батюшка.

– И я серьёзно. Не находишь, что сливовая эта слишком сладенькая? Нигде они меры не знают. Даже генералы. Марья, а другого ничего разве нет?

Марья уже находилась в подсобке, но тут же явилась на зов отца Афанасия. Принесла початую бутылку какого-то импортного напитка. Батюшка взял бутылку, рассматривая на свет этикетку.

– А-а, это на Пасху тот строитель приносил, помнишь? Который про своего бывшего друга питерского рассказал. Помнишь?

– Еще бы не помнить!
– То-то. Строил-строил со своим подопечным храм, а потом, как храм освятили, вывалил батюшке на стол счёт на сорок миллионов. Во молодец!

Он наполнил рюмки светло-коричневой жидкостью. Неужели опять виски?

Батюшка выпил, поморщился.

– Это ничего, а? Как называется, не знаешь?

– Кальвадос. Это писательский напиток, батюшка. Мы об этом говорили.

– А-а, вспомнил. Ещё про этого писателя, хвалившего это питьё, как его...

– Ремарк.

– Во-во. Ремарка хорошая вышла. Почти как наш первач.

И вдруг неожиданно добавил:

– А вот что мы сделаем. Ты этому Брехуну, или как там его, денег давать не разрешай. Своей красоте так и скажи, что если она у него возьмёт, то ты тоже возьмёшь свою котомку – и за плечи. Понял?

– Так вы... думаете, он за этим и приехал?

– А зачем ещё? Твоя многомудрая тёща его и вызвала. Мол, мил дружок, сладенький, разумненький, дай миллиончик. Если не целенький, так хотя бы половиночку. А Сашенька наша выздоровеет – и снова всё будет у вас как прежде...

Я о таком развитии событий как-то не подумал. И в самом деле: для чего бы это Ревуну к нам являться? К больной Саше? Но, может, он всерьёз любит?

– Знаю, о чём думаешь. Не замаливать грехи он явился. И не от шибкой любви.

– Так зачем же?

– Думаю, у него своя корысть. Эти люди одного поля ягода – что тот благодетель, который счёт на сорок миллионов своему батюшке выложил, что твой Брехун. Вот увидишь.

Я во все глаза смотрел на своего батюшку. Щёчки его от выпитого разрумянились, голубые глаза из-под очков светились чистотой и тем особенным светом, который я наблюдал у него не так часто за более чем десять лет наших отношений. Ведь это он вёл меня шаг за шагом от понимания самых простых церковных правил до тех Христовых истин, к которым я всё это время приближался. И как сейчас, во время этого разговора, казалось, приблизился к разгадке того положения, в котором оказался. Надо разрубить этот узел, который связал мои руки и ноги, разрубить...

Вот, занёс я саблю, размахнулся...

Ну, руби!

Вспомнил:

Встрепенётся трубач¹⁸

И застынет, трубя.

Обнажат мои братья клинки.

Так они возлюбили, Россия, тебя,

Что тебя же и рвут на куски.

¹⁸ Строфы из стихотворения «Русский узел» самарского поэта Е. Чепурных.

*Помолчим, брат мой, брат,
Русский узел никто не разрубит.
Тот, кто любит,
Тот первый нас и убьёт,
А потом уже тот, кто не любит.*

Мне бы молитвы вспоминать, а я всё стихи, стихи... Среди них и живу, и мучаюсь. Вот, про русский узел вспомнилось. А ведь мне надо про свой собственный узел думать.

– Хорошо, я её предупрежу. А они за моей спиной обо всём договорятся. Да и не уверен я, что Ревун на миллион раскошелится.

– Это их дело, а не твоё. Клин плотнику брат, так в народе говорят. А ещё говорят: стал кормить бы и волка, коли бы травку ел.

Я обдумывал сказанное батюшкой.

Значит, предстоит объясниться с Сашей. Опять о деньгах... И где их взять... Ничего, найду...

– Вот и правильно, дорогой мой Александр Сергеевич, – прочитав мои мысли, сказал он. – Давай ещё кальвадосу – самогона дёрнем, да и отдохнуть надо. Вечерню служить. Сколько раз тебе говорил, что полезно, даже необходимо не только по воскресеньям ко мне приходите. И сколько раз ты обещал, парень.

– Грешен.

– Словами не отделаешься. Пей да дело разумей. Кстати, когда суд? Потом и передача?

– До Преображения всё завершится.

Я выпил, а батюшка лишь поднял рюмку и поставил её на стол.

Потом проводил меня до двери, которая вела наверх. Благословил и сказал:

– Бог любит праведника, а судья ябедника. Помни про это.

Продолжение следует.



**Ксения
САВИНА**

РАЗГОРЯЧЁННОЕ НЕБО

Во мне неведомая сила
Столько дел наворотила,
Пока что сок бродила
И меня бросала
И в жар, и в лёд событий.

Я будто ничего не выбирала,
Я только зубы сжимала –
По-моему, по силе!

Я знала – на её исходе
Моя победа.

На исходе... это благозвучно,
А я, будто за столом карточным,
Всё повышаю и повышаю ставки,
На время отлучаясь
Всем собравшимся сказать:
Пейте и танцуйте,
Поднимаю!

И снова за столом,
И кон финальный,
И добрый на руках расклад.
Крупье!

Запиши уже на мой счёт победу –
И расходимся.
Мне опостылел этот дом
Гостеприимства.

-
- Ксения Игоревна Савина родилась и живёт в Санкт-Петербурге. Выпускница философского факультета СПбГУ и одноимённого факультета РХГА. Религиовед, окончила аспирантуру ЛГУ им. Пушкина в 2019 г. по направлению «Философия религии и религиоведение». Занимается теорией и практикой стихосложения в верлибре. Член Совета молодых литераторов, организатор, поэт. Публиковалась в журналах: «Знамя», «Юность», «Аврора», «Бельские просторы», «День и Ночь», «Наш современник».

Я, даже если сорву джек-пот, –
Банкрот.
У меня сердце пустое,
Я годы молюсь на место пустое,
Но его не возвращается
Святость.

Падаю в память,
В траву высокую,
В снег глубокий.
И в небесах падающих
Нет места свету;
Белые разлетаются,
Синие разлетаются искры.

Я в ужасе вижу:
Не покидают нас наши умершие,
Кружат, тенями заслоняя солнце.
А что им в посмертной делать жизни,
Если они всё своё оставили в этой?
Значит, должна, живя, искать иной жизни,
Чтобы она настала.

На языке катаю слово...
Тот ещё катала, шулер!
Я меченое ищу –
Выдать тебе на-гора,
Сдать на ура
И ещё повторить партейку.

Мой дорогой, стихи такое дело:
Что ни солгу – всему поверишь ты.

Он требует, не чувствуя надлома
И торопя.
До боли это мне знакомо...
Ветер станет дверь трепать,
Петли проверять –
Будто дух твой мятежный
Воротился прознать –
Верна ли я.
Губы дёрнутся сказать: «лю...» –
И не договорю,
Не договорю.
Ведь с ним я тороплюсь
Тебя забыть.
Я тороплюсь
Узнать тебя хоть в ком.
Ведь это ты – надлом.

ИЮЛЬ**I**

В тополиных мотыльках,
Тополицах,
Я побрёл,
Выбирая слова,
Играя на подъёмах и кружениях
Жаркого воздуха.

Чествуем нынче
Гая Юлия Цезаря.
Всё в нас держится
Одной памятью
О былых вершинах,
О виражах прошлых.
Что ж, пусть поёт о них,
Гудит
Разгорячённое небо,
Раз нет новых.

II

Ещё мечутся обрывки
Тополиного белого ситца,
А с небес уже готовы ринуться
Блистающие иглы дождя.

Здесь идёт седьмое тысячелетие
Нашего существования,
Мы как пыль,
Которую собрать никак не может
Метла дождя.

Позже это переплачь,
А сейчас поглубже спрячь,
В надежде, что лицо твоё,
Немоленая икона,
Не будет являть чудо,
Не будет слезоточить.

Ведь прошли времена благовестия,
И теперь не бывает чудес.

Под шум дождя теперь привычно засыпать одной,
Хоть раньше очень нравилось мне вместе.
Но в прошлом я ни в зуб ногой, я ни ногой
В прошлое.
Я вещью быть хотела драгоценной
Того, кто не хозяин сам себе.
Так что же вою по тебе, что песни
Сочиняю пошло.
Не кончилось, осталось на чуть-чуть,
И в одиночку сложно расквитаться
С наследством первых дней
И дней последних.
Исчезнешь или придёшь поставить точку –
не всё равно.
Но всё ровней
Сердцебиение.
Ведь ждать – надёжная работа,
Ждать – будто дождь излить
На Петербург –
В итоге никому ни холодно
Ни жарко.



Игорь
ГОЛУБЬ

ГОРОД НА ПРЕГОЛЕ

Так происходит каждый год
И каждый день – утих к утру бы:
Играет ветряной фагот,
Гудят неосторожно трубы.

Простая музыка звучит,
И хоть не верю в чудеса я –
Готовит ветер новый хит,
В толпу печальную бросая,

Пока не подтолкнёт закат
Случайных слушателей к дому.
И снова ветер-музыкант
Звучит, звучит, подобно грому.

Но пусть ночной погаснет дом,
Не засыпаешь всё равно ты,
Пока за плачущим окном
Звучат пронзительные ноты.

Несёт вода в темпе вальса
Тревожный свой непокой.
Как часто я оставался
Один на один с рекой.

Под брюхом пустого пирса
Узоры вода плела,
И окунь на дне крутился,
И билась в траве плотва.

-
- Игорь Владимирович Голубь родился в Калининграде в 1984 году. Поэт, прозаик, член Союза писателей России. Редактор всероссийского молодёжного литературного журнала «Веретено», составитель антологии молодёжной поэзии России «111» (2020). Автор пяти поэтических сборников (2015–2020), сборников рассказов «Жить» (2020) и «Волна» (2021). Публиковался в журналах «Подъём», «Бельские просторы», «Наш современник», «День и Ночь», «Нижний Новгород», «Симбирск», альманахах «Образ», «Арина», «Кострома», «Тамбовский альманах». Лауреат литературной премии «Молодой Петербург» (2018).

Уходишь с тоской отсюда,
Но мысли всегда легки,
Ты молча уносишь чудо
Из царства большой реки.

Оно не в богатстве слова,
А в тихой игре лучей,
К реке ты вернёшься снова,
Как впавший в неё ручей.

Когда постучится старость
В скрипучую дверь клюкой,
Я просто опять останусь
Один на один с рекой.

Я прошлым вечером скорей
Спешил попасть домой с работы,
Но на брусчатку с фонарей
Пролилось море позолоты.

Скользила по дороге тень,
Мелькали в переулках лица,
И первый раз за целый день
Я захотел остановиться.

Как много пролетело дней,
Чтоб я открыл глаза пошире –
Ведь это золото ценней
Иных сокровищ в нашем мире.

Глотая слёзы ноября,
Шумела мокрая дорога.
Крещённый светом фонаря,
Я в первый раз увидел Бога.

Когда весь город прячется в ночи
И далеко до сонного рассвета,
Движение по улице начни,
Где липа одинокая раздета,

А за забором яблоневый сад
Скрипит свою симфонию тоскливо,
И жмётся к мёрзлой стенке виноград,
И тихо плачет маленькая слива.

Внезапный ветер бьёт по проводам,
Фонарь, кивая будто понемногу,
Всё золото на свете промотал,
Но всё же осветил тебе дорогу.

Остановись и просто помолчи,
Пока текут минут спокойных реки:
Есть лишь фонарь и улица в ночи,
И, слава Богу, никакой аптеки.

Я с ранних лет любил копаться в датах:
Мне кажется, в конце восьмидесятых
С той церкви старый колокол исчез.
Её судьба горька и монотонна,
Лишь башня, две стены и полфронтон,
А дальше – до реки костлявый лес...

Но даже грязный храм – не брат сараю,
И потому сюда я приезжаю,
Поставлю в башне мусорный пакет,
Заполню весь – немало он вмещает,
А мне природа честная вручает
Борщевика пугающий букет.

Так далеко от Бога и от мира,
Стоишь в глуши, где холодно и сыро,
И в тишине с ветрами говоришь.
На стенах – некрасивые подтёки,
И на тебя дождливые потоки
Всё льются невпопад с небесных крыш...

Ты знаешь все грехи мои и страхи,
Стоишь один в готической рубашке,
Беспомощную душу леденя
Бездонными глазами старых окон.
Но знаю я, что в будущем далёком
Ты воскресишь по-дружески меня...

По окончании сезона,
Когда полотнами Сезанна
Накрыта простыня газона,
И эта простыня сползла на

Сырые спины тротуаров
(А вместе с ней – шаги на плитку),
И тянет из безлюдных баров
Теплом волнующих напитков,

О том, что сквер – сплошные раны,
Узнаем завтра из газеты.
Смотри: унылые каштаны
Внезапно догола раздеты.

И, хоть немного углубись я
В погоды свежие прогнозы,
Мгновенно полечу, как листья,
Над этим городом промозглым.

И ты недаром мне сказала,
Когда со мной вдвоём парила:
«Напоминаешь мне Сезанна,
Что пьян красотами Парижа».

Холодный ветер нас прогонит,
Но даже в этой свистопляске
Я рад, что город на Преголе
Разлил вокруг такие краски...

Листьев много с деревьев сорвано
В переулках посёлка сонного,
И лежишь под ногами снова ты,
Дорогое сырое золото.

Но купить на тебя мне нечего,
Потому лежишь не замечено,
Как на полках больших – бестселлеры,
Обесцелено, обесценено.

Время вышло, часы дотикали,
Все утюжат тебя ботинками,
По тебе мы с рожденья бегали,
Потому ли всю жизнь мы бедные?..



**Дмитрий
ВОРОНИН**

ПОЗДНЯЯ МЕСТЬ

Научное судно «Моноцит» уже целый день стояло у причала, вернувшись из полугодовой экспедиции по северным морям. Радость встречи экипажа со своими родными осталась позади, и на борту шла обыкновенная работа по приведению судна в относительный порядок.

Часть «научников» выгружала образцы грунта для дальнейшего изучения в лабораториях института, другие писали всевозможные отчёты о проделанной работе, кто-то занимался уборкой кают, а кто-то валял дурака в кают-компании, играя в карты.

– Мужики, – в дверях кают-компании показалась голова боцмана, – вас там авансировать собираются в каюте старпома.

Карты тут же полетели на стол, средний и младший научный состав чуть ли не бегом устремился к старпомовской каюте. Шутки, подначки, подковырки зазвучали в толпе ожидающих. Приятная процедура выдачи денег постепенно подходила к концу, когда к столу подошёл техник научной группы Костик Ребров.

– Распишись вот тут, – второй штурман протянул ему ведомость.

Костик посмотрел на сумму, указанную на бумаге, и просиял. Таких денег он не держал в руках ни разу в своей двадцатитрёхлетней жизни.

– Получи, – отсчитал указанную сумму второй штурман и улыбнулся Костику. – С почином.

– С тебя причитается, – похлопал Костика по плечу старпом, пряча в бороде улыбку.

– Обязательно, конечно, а как же... – Смутившийся Костик стрёб деньги и рванул к двери.

-
- Дмитрий Павлович Воронин родился в 1961 году в г. Клайпеда (Литовская ССР). Сельский учитель. Автор трёх сборников рассказов. Участник сорока альманахов и прозаических сборников в России, Украине, Беларуси, Германии. Публиковался в журналах: «Алтай», «Балтика», «Белая Вежа», «Берега», «Бийский Вестник», «Великороссъ», «Вертикаль 21 век», «Гостинный двор», «Двина», «Дон» (Ростов-на-Дону), «Дон новый», «Крым», «Лик», «Литературный Омск», «Луч», «Молодая гвардия», «Наше поколение», «Наш современник», «Нева», «Нижний Новгород», «Новая Немига литературная», «Огни Кузбасса», «Отчий край», «Петровский мост», «Подъём», «Приокские зори», «Простор», «Русское эхо», «Север» и др. Лауреат премии им. Александра Куприна, лауреат международных конкурсов и фестивалей «Славянская Лира» (Беларусь), «Славянские традиции» (Крым), «Русский Stil», (Германия), «Гоголь-фэнтези» (Украина), литературного конкурса «За далью – даль», посвящённого А. Твардовскому, и других. Член Союза писателей России. Член Конгресса литераторов Украины. Член редколлегии литературных журналов «Балтика» (Калининград), «Великороссъ» (Москва). Живёт в п. Тишино Калининградской области.

- А пересчитать? Вдруг обманули? – раздалось вслед.
- Не, всё верно, я доверяю, – прозвучало из коридора.

Костик быстро прошагал в свою каюту и заперся. Разложив на столе деньги, он минут пять рассматривал их, а потом начал раскладывать по кучкам и рассовывать по карманам. «Эти – маме, – рассуждал Костик, – эти – себе на обновки, эти – Наташке на подарки, эти – на проставку ребятам, а эти – на поход в ресторан с Григорием Моисеевичем».

Для него этот поход был очень важен, решалась судьба: или Юнерман берёт его к себе в институт, или забыть о науке, экспедициях, новых друзьях и романтике.

Распределив деньги по карманам, Костик с опаской подошёл к каюте Григория Моисеевича. Юнермана он побаивался – и в силу разницы в возрасте, и в силу некоторой строгости начальника экспедиции. Юнерман всегда был хмур, сосредоточен, неразговорчив, и только глаза выдавали в нём незлобивого человека – высвечивалась в них какая-то озорная искорка, не позволяющая собеседнику оробеть перед всемогущим доктором наук.

Костик осторожно постучал в каюту Юнермана.

– Можно? – Он открыл дверь.

– Входи, – поднял голову из-за стола Григорий Моисеевич. – Чем могу служить?

– Григорий Моисеевич, я вот тут, понимаете... – замялся Костик.

– Ну смелее, смелее! – ободряюще улыбнулся Юнерман.

– Я приглашаю вас сегодня поужинать в ресторане, – выпалил Костик и покраснел.

– Ого! – сделал удивлённое лицо Юнерман. – Вы меня приглашаете? А где же цветы?

– Я.. нет, вы не так меня поняли. Я не приглашаю вас, то есть... Нет, я приглашаю, но не как... а по-другому... – Костик умолк, окончательно смутившись.

– Ну, это понятно, что по-другому, а «не как», – заиграли озорные искорки в глазах Юнермана. – А то и говорить не о чем, потому что в нашей стране это совсем не так, а всё гораздо хуже, если не сказать, что совсем капут.

Костик стоя умирал от стыда и злости на самого себя. Так глупо, так бездарно завалить всё дело!

Но Юнерман не был бы Юнерманом, если бы продолжал шутить и дальше. Понимая состояние Костика, Григорий Моисеевич серьёзно произнёс:

– Ладно, Константин, пошутили, и хватит. Я согласен посетить с тобой это заведение, но с условием – обедаем каждый за свои. А спиртное за мой счёт. И не отрицай, тебе деньги самому нужны. А сейчас иди занимайся своими делами. В час встречаемся у «Меридиана», знаешь такое кафе?

Костик кивнул.

– Ну, до встречи.

Костик, всё ещё смущённый, быстро выскочил из каюты начальника экспедиции.

Ровно в час Костя с Григорием Моисеевичем входили в кафе. Расположившись за столиком, Юнерман стал внимательно изучать меню.

– На правах старшего заказа делаю я, возражений не принимаю.

Костик согласно кивнул.

– Так, – обратился Юнерман к подошедшему официанту, – два оливье, два салата из кальмаров, два борща, две отбивные, бутылочку армянского коньяка и минералку. Попозже – кофе.

– Сделаем, – записав заказ, официант ушёл.

Костик, поникший, молчал, не решаясь начать важный для себя разговор.

– Ну, как тебе экспедиция? – спросил Григорий Моисеевич. – Понравилась?

– О, это такой кайф, такой адреналин! – оживился Костик. Глаза его загорелись, спина выпрямилась. – Я ничего подобного не испытывал никогда. Жалко, что пролетело всё очень быстро, как один день, даже нет – как один миг. И так не хочется верить, что больше этого не повторится!

– О, да он у тебя поэт! – вдруг раздался за спиной Костика насмешливый голос.

Костик покраснел и быстро повернулся назад.

– Всё, всё, сдаюсь, сдаюсь, – притворно вскинул руки вверх полноватый мужичок небольшого роста, одетый в потёртые джинсы и незаправленную линияющую тельняшку. – Гриша, скажи своему юному другу, что я пошутил, а то он меня сейчас съест.

Григорий Моисеевич поморщился.

– Знакомься, это местная знаменитость – поэт Леонид Лямкин, – представил он своего знакомого. – А это Константин, наш младший научный сотрудник, – обратился Юнерман к Лямкину. – Кстати, тоже пишет стихи.

Лицо Кости из красного сделалось пунцовым.

– Любопытно, любопытно, – несколько поскуичел Лямкин, подсаживаясь за столик. – Многие сейчас себя считают поэтами, но о поэзии потом. Гриша, ты, я вижу, с морей и, конечно же, при деньгах. Угощаешь старого друга и поэта?

– Ну, а куда от тебя деться, – натянуто улыбнулся Юнерман. – Тем более ты уже уселся.

– Вот и хорошо, вот и ладошки, – потёр ладони Лямкин и прокричал в зал: – Официант, добавь сюда бутылку армянского и парочку салатиков для начала!

Вскоре на столе появились салаты, коньяк, минералка и борщ.

– За встречу! – поднял свой фужер Лямкин. – Гриша, за тебя! – И, не дождавшись остальных, опрокинул в себя содержимое. Тут же налил снова. – За поэзию! – Выпил и второй фужер.

Костя молча поглотил борщ, украдкой поглядывая на Леонида Лямкина. Первый раз в своей жизни Косте довелось встретиться с настоящим поэтом. Весёлый, раскованный, компанейский. Вот бы ещё его стихи послушать, а может, рассказы о встречах со знаменитостями, ведь такой наверняка знаком с лучшими поэтами и писателями.

– Гриша, – налил себе третий фужер коньяка захмелевший Лямкин, – а давай за музу, за такую музу, которая всегда с нами, с истинными любителями искусства!

– Лёня, – укоризненно покачал головой Юнерман, – третий тост поднимают не за музу, а за...

– Да брось ты, Гриша, банальности разводить, – скорчил недовольную гримасу Лямкин и залпом выпил коньяк. – За тех, кто в море, за тех, кто не с нами... Фигня всё это. Пить надо за себя любимых, а не за кого-то там вдали.

Григорий Моисеевич чуть сморщился, но спорить с поэтом не стал, зная его капризный характер.

– Слушай, Лёня, ты что-нибудь новенькое написал? – перевёл он разговор на другую тему.

– Не уважаешь, Гриша, ты меня, – обиженно вытянул нижнюю губу Лямкин. – У меня ни дня без строчки, как сказал один известный *****. Кстати, и на вашу морскую тему есть немало. Щас, только выпью чуток и выдам.

Лямкин выпил очередной фужер, крикнул, закусил и повернулся к Костику.

– Слушайте, молодой человек, оценивайте и запоминайте, как сидели за одним столом с гением русской словесности, потом внукам похвалиться будете.

Поэт встал, покачнулся, одной рукой схватился за спинку стула, другую вытянул вперёд и начал с пафосом:

*Корабли уходили в ночь
Далеко от родного берега,
И волна убежала прочь
За кормой к берегам Америки.
Спи, родная, в тиши ночной
Приплыву я к тебе сквозь туманище,
Охраняю я твой покой,
Ведь я главный в морях капитанище.
И когда мы вернёмся домой,
Ты на шею мою облокотишься.
Я поверю, что берег мой
Не Америка, а родных скопище.*

– Bravo, Лямкин, bravo! – ухмыляясь, захопал Григорий Моисеевич. – Это величина!

Не заметив сарказма в голосе Юнермана, поэт гордо продолжал:

– И ещё из недавнего:

*Люблю себя в своём лице,
И невозможно быть иначе,
Когда на зорьке на крыльце
Коровы мыкают на даче.
Я есть советский гражданин,
Я патриот своих начал,
В стране я Чацкий господин,
Как говорил актёр Качалов.
Мы все рождались из полей,
Из жнив, из гумен, из пшеницы.
Ты трогать Родину не смей,
Она – орёл, она – жар-птица!
Большой державною рукой
Она карает и лелеет,
И я иду по ней ногой,
И сердце гордостью смелеет.*

Костя изумлённо уставился на Лямкина. Поэт, заметив это изумление, тут же продолжил:

– А теперь самое что ни на есть самое! Да что слова, слушайте!

*А вот и встал навеки миг
Во славу музе потрясённой,
Нырнул в пучину яркий блик –
Поэта стих замороженный.
Я будто памятник себе,*

*Ещё не есть, но скоро буду.
Пишу поэзию судьбе,
Покуда живы – не забудут!
И пусть гремит во все концы
Известное моё творение.
И пусть читают подлецы
Одно про них стихотворение.
А в нём весь я, с конца в конце,
Моё нутро, моя судьбина.
Своим стихам я сам – отец,
А кто не внемлет мне – дубина.*

– Ну, Лёня, вот тут ты весь, вот тут ты себя превзошёл, аки Бог, – налил себе коньяка Юнерман. – Вот этим ты меня сразил, убил наповал!

– А, понял, Гришка, понял потаённый смысл! – светился всем лицом Лямкин. – Я знал, знал, что поймёшь! На руках за такое носить надо.

– Да-а-а, это точно, на руках выносить, это шедевр на все времена, – криво улыбаясь, согласно кивал головой Григорий Моисеевич. – Много выпил, пока родил это?

– Не знаю, не считал. Ещё прочесть?

– Хорош, хорош, – отстранился от поэта руками Юнерман. – Дай это переварить.

– Эх, Гриша, слаб ты на восприятие серьёзной поэзии, – пренебрежительно скривил губы Лямкин. – А вот молодой человек хочет послушать настоящую поэзию. Ведь так? – обратился поэт к Костику.

Костик согласно кивнул и застенчиво сказал:

– Да, хотелось бы послушать кого-нибудь.

– В смысле – кого-нибудь? – набычился Лямкин.

– Ну, Вознесенского или Евтушенко, например, – тихо произнёс Костик две пришедшие на ум фамилии.

– ***** и *****! – брезгливо вытянул губу Лямкин.

– В смысле? – не понял Костик.

– В смысле – два *****, – ответил поэт.

– Ну, может, тогда Ахматову или Цветаеву?

– ***** и *****!

– Ахматова и Цветаева? – недоверчиво посмотрел на Лямкина Костик.

– Ахматова и Цветаева – ещё два *****.

– Да вы что! Как же так? Ну, а Пастернак, Блок, Есенин?

– Ещё те вонючки, одна тошнота, – изобразил отрыжку Лямкин и обратился к кажущемуся безучастным Юнерману. – Гриша, что за идиота ты привёл? Он ни черта не понимает в поэзии!

– А Пушкин, Пушкин кто? – Костик приподнялся из-за стола.

– ***** твой Пушкин!

– Всё! – ненавидяще произнёс Костик, схватил мускулистой рукой за ворот Лямкина и пинками начал подталкивать к выходу.

– Как ты смеешь! – кричал, вырываясь, Леонид Лямкин. – Ты кого пинаешь? Ты ответишь! Ты пожалеешь! Я отомщу-у-у...

Вышвырнув поэта за порог, Костик вернулся назад к Юнерману, уверенный в том, что поставил своей выходкой крест на собственной карьере. Как же, выставил друга Григория Моисеевича! Каково было удивление Костика, когда он услышал:

– Молодец, Константин, наш человек! Быть тебе в нашей команде.

Через тридцать лет известный поэт Константин Ребров шёл на встречу со своими читателями в областную библиотеку. У центрального входа из салона «Тойоты» пожилая женщина вытаскивала две небольшие упаковки книг.

– Давайте я помогу донести, – предложил свои услуги Ребров.

– Вот спасибо, – обрадовалась женщина. – Тут рядом, на второй этаж, в хранилище.

Поднявшись на второй этаж, Ребров поинтересовался:

– А кого я нёс-то, скажите?

– Да этого... Леонида Лямкина.

– Вот чёрт, – рассмеялся Ребров, хлопнув себя по бокам. – Отомстил всё-таки старый графоман, заставил себя на руках носить!



**Татьяна
ЯРЫШКИНА**

ВЕЧНОЕ ПРОШЛОЕ

ТЫ ИЛИ СОН?

С сотворенья мира не смыкая глаз,
Ты не спал ещё до сотворенья...
Так ли, Господи?
Не спишь ли Ты сейчас?
Не Твоё ли только сновиденье –

Весь вот этот мир, где был ты или нет?
Есть Ты или нет Тебя? И – будешь
Или всё же?..
Дай мне, Господи, ответ!
Как проснёшься...
Или мир разбудишь.

Или в нём – меня.
Чтоб дух воспрянул мой,
Бодрствуя с Тобою, а не всуе.
Отними последний зыбкий мой покой –
Дай понять, что в яви существуешь.

СОН

Смотрю безмолвно, как над Ним свершается распятые.
Из-за широких спин солдат, сомкнувших тесный круг,
Мне различима только грудь Его, уже без платья, –
И этим взор мой отвлечён от пригвождённых рук...

Мне кажется, что из груди – открытой, беззащитной –
Я слышу сердца гулкий стук – Его ли, своего?
И как же горько, что лица и глаз Его не видно!
Но как хотелось бы совсем не видеть ничего...

-
- Татьяна Дмитриевна Ярышкина родилась в городе Котласе Архангельской области. Публиковалась в литературных альманахах «Белый бор», «Переключка» и «Невский альманах», журналах «Знай наших», «Арт», «Мир Севера» и «Ротонда», на сайте «Российский писатель». Автор стихотворных сборников «Дуэль» (2017) и «Верблюжья мотивы» (2019). Стихи вошли в шорт-лист VI Международного литературного конкурса «Мыслящий тростник» (2018).

Всего страшнее видеть мне не сомкнутые спины,
Не эту трепетную грудь, где бьётся сердца ком,
А то, как сила и бессилье могут быть едины,
Казня ли Правду, просто ли присутствуя при том...

Не в силах двинуться, стою и ничего не стою –
Ни капли крови, что за всех на свете отдана!
И распинаемой душе не нахожу покоя:
Ей нет прощенья, как нет забвенья и сна.

Мне слышится в шорохе снов и листвы,
Как время уходит моё насовсем.
Те сны мимолётны.
Те листья мертвы.
И время становится просто ничем.

Мне кажется странным, что я остаюсь
Досматривать сны, наблюдать за листвою –
В то время, как время уходит.
А грусть
Становится вечной – во мне и со мной.

ВЕЧНОЕ ПРОШЛОЕ

Настоящее прошлым станет.
Но оставит во мне настоявшийся след –
Навсегда.
Это будет память,
Для которой прошлого нет.

Всё и ныне, и присно – вечно...
Я, не зная о Вечности, помню о ней.
И тоскую.
Хотя, конечно,
Остаюсь до скончанья дней

В эпицентре большого риска:
От текущего дня я навек отстаю,
Но настолько прошлое близко –
Отстоится в Вечность мою.

НЕ ИЗМЕНИТЬ

Как последний из дней для меня – все дни.
Не планирую дел.
Холодильник пуст.
Не могу даже в том себе изменить,
Чтобы голод привычным был из чувств.

Как последних – вся жизнь – вереница дней.
Будто завтра отвечу за все грехи.
Лишь над этим ответом и биться мне,
И на эту же тему писать стихи.

Как в последний из дней, вся задача – в том,
Чтоб уйти и достойно, и не скорбя.
Не могу я себе изменить ни в чём.
Я по-прежнему тщусь изменить себя.

ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ

*Может ли Бог сотворить камень,
который Сам же не сможет поднять?*

Я – тот самый тяжкий камень, Боже,
До сих пор не поднятый Тобою.
До сих пор не понятый собою...
До сих пор...
О Господи, Ты можешь!

Ты поймёшь и мне понять поможешь.
Словом не возьмёшь – так Ты руками.
Я – оглохший от удара камень:
Как упал – ударился я, Боже.

А упал откуда – и не помню.
Чувствую, что было всё иначе
И когда-то не был я лежащим.
Господи, возьми же!
Тяжело мне...

Тяжело – настолько виноватый
В том падении своём нелепом.
Не звездою ли в разрыве с небом –
Боже, и с Тобой – упал когда-то?..

Наверное, Бог мой выдуман
И сходства с библейским нет.
Как нет и прощенья, видимо,
За столько безбожных лет.

Но есть у меня раскаянье
В невыдуманных грехах.
И живы, жить не давая мне,
Решимость моя и страх.

Судьбу – и дерзаю выдумать,
И тщусь до конца понять.
А всё неподдельно, видимо,
Что выдумало меня.

Придумаю, придумаю опять,
Чего мне ждать, чего уже не ждать;
И чем мне жить, и вообще – зачем;
Во что мне впасть, пропасть ли насовсем...

Придумаю, куда судьба ведёт
И чем опасен каждый поворот
Её петли; и кто из нас сильней;
Насколько я – творец судьбы своей.

Насколько я – создание Творца,
Его подобие, дитя Отца,
Его задумка...
И насколько Он
Придуман мной, распят и воскрешён.

Но если надо, Господи, я буду –
До самого предела буду жить.
До самой безнадежной веры в чудо:
Поверю – во спасение души.

Поверю, что спасти её возможно,
Хотя и за душою столько лет –
Бесмысленных, бесцельных и безбожных.
Безо всего. Которых как бы нет...

Которые растрочены впустую
И вряд ли вспомнятся хоть чем-нибудь.
А я Тебя по-прежнему взыскую,
Мой Боже, сколь бы ни был долог путь.

Ни Время меня не лечит,
Ни опыт меня не учит...
Вполне безнадежный случай.
Осталось дожидаться встречи

С той Вечностью, для которой
Всё Время – только на время,
Весь опыт – лишнее бремя.
Неважно, скоро ль, не скоро

Лишусь того и другого,
Поняв, что душа свободна:
Для Вечности всё – сегодня.
Ко встрече душа готова.

ТЕМ НУЖНЕЕ

А могло бы, кровь леденя,
Охватить морозом по коже:
«Никому не надо меня –
Так и мне себя, видно, тоже...»

Не случилось: Бог уберёг.
А случилось нечто иное.
Осенило: нужен лишь Бог.
Он Один остался со мною.

Он Один всегда и поймёт,
И моё раскаянье примет,
И со мной разделит мой гнёт,
Что делить не стану с другими.

Он и горе сможет унять,
И вину мне простить сумеет.
Никому не надо меня –
Может, Богу я тем нужнее.

МОЙ ГОРОД

Мне нравится жить в этом сером городе.
От климата сером, от мыслей мрачных...
Мне верится, Ты не оставишь, Господи,
Дворов и проулков его невзрачных.

Мне нравится этими вот проулками
Ходить по нему, неизменно слыша,
Как вместе с ударами сердца гулками
Мой город в одном темпоритме дышит.

И в то, что при всякой разрухе выстоит
Мой маленький город печально-серый,
Мне хочется верить как можно истовей.
О Боже, помочь бы своею верой...

Но вновь лишь подумаю: так положено,
Чтоб осень бывала здесь дольше лета.
Взыскательной осенью больше спрошено
Со здешних – просящих Тебя – поэтов.

НЕТ СЛОВ

Родина, не знаю, что сказать,
Чтоб тебя достойно было слово.
Ты не просишь ничего такого,
Но всё время смотришь мне в глаза.

Впрочем, это я смотрю – в твои,
Наблюдая пасмурное небо
И мечтая: научиться мне бы
Признаваться родине в любви.

Признаваться, сердце отворив
Хмурым тучам и таким же лужам..
И не думать: да кому он нужен –
Этот вот сердечный мой порыв?

И не думать, встречу ли ответ.
Что ответят птицы да берёзы?..
Или – ветер?.. Он такой, что слёзы
На глазах, – а нужных слов и нет.



**Кселена
ЛИТВИНОВА**

К СОЛНЦУ

ЛИСТ ОСЕННИЙ

Стылый ветер
Терзает улицы звоном:
Стонет скрипка
С единственной целой струной.
Лист последний
На ветке старого клёна
Задержался
В надежде проснуться весной.

Лист на ветке,
По сути, так мало ты прожил:
От апреля
Почти до конца ноября.
Лист осенний,
А мы с тобою похожи:
Так же мёрзнешь
Сейчас на ветру, как и я.

Ну а завтра
Скользнёт сединою пороша,
Сразу станет
Земля непривычно светла.
Встретим Завтра.
В жизни всё возможно...
И, кто знает,
Ты, может, дождёшься тепла.

-
- Елена Евгеньевна Литвинова (творческий псевдоним – Кселена Литвинова) родилась в 1976 г. в г. Нестерове. Окончила Саратовский государственный медицинский университет; живёт и работает в Саратове. Публиковалась в литературных журналах и альманахах: «Волга–XXI век», «Смена», «Наш современник», «Журнал поэтов», «Невский альманах», «Эрфольг», «Южная звезда», «Литературный меридиан», «Дальний Восток», «Земляки», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Зов» (Венгрия), «Венский литератор» (Австрия). В апреле 2013 года стала победителем литературного конкурса, организованного Интернет-журналом «Эрфольг». Рисунки в качестве иллюстраций к стихам публиковались в венгерском журнале «Зов», рождественском номере журнала «Иные берега» в г. Хельсинки в 2012 году, использовались для оформления обложки и иллюстрирования сборника современной русской литературы на венгерском языке «Принесённое ветром эхо» (сборник выпущен в 2013 году издательством АМОН, г. Будапешт, Венгрия). Автор книг «Отражение снов», «Я пришлю тебе солнце» и «Сказочные истории на даче». Дипломант литературного конкурса «Волжская волна» (г. Саратов, 2015 г.)

К СОЛНЦУ

Северный ветер.
Озябшие улицы
Грустью осенней
И сумраком скованы.
Город холодный
Привычно сутулится,
Взглядом застывшим
Глядит зачарованно.

Серая гамма –
Тона неслучайные:
Здесь поселилось
Давно Равнодушие.
Странною гостьей
Явилась нечаянно
И заплутала
Надежда на лучшее.

Больше не дам я
Сомнению повода.
Выбор Пути мой
Уже не изменится:
Мёрзнуть ли дальше,
Подняв к Небу голову,
К Солнцу идти ли
По призрачной лестнице.

И облаками
Ступени застелены.
Сбросив тревоги,
Объятя бессонницы,
Выше и выше
Ступаю уверенно.
И долгожданным
Теплом сердце полнится.

Я ВЕРНУЛСЯ...

Тучи над селом.
Гром.
Летний день унял
Пыл...
Клонится к земле
Дом:
Здесь когда-то я
Жил.

Подниму земли
Горсть.
С яблонь облетел

Цвет.
Здесь я – городской
Гость,
Но роднее мест
Нет.

Падает на храм
Взгляд,
И творит рука
Крест...
Только Бог един
Свят.
Я – такой, какой
Есть.

Колокольня льёт
Звон,
Отзвуком в груди –
Дрожь,
Страждущей души
Стон.
По щеке слезой –
Дождь...

Тучи над селом.
Гром..
Речка, а за ней –
Лес.
Щурит окна мой
Дом.
Я вернулся,
Я здесь.

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. НЕКРАСОВА



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

«ПЕВЦУ НАРОДНЫХ СТРАДАНИЙ»



Портрет Н. А. Некрасова.
1946 год

Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878) детские годы провёл в селе Грешнево (ныне Некрасово) Ярославской губернии, в имении отца. В 1832–1837 годах учился в Ярославской гимназии. В 1861-м приобрёл усадьбу в Карáбихе, что в 15 км от Ярославля, куда приезжал на лето и где создавались многие его стихотворения и поэмы. Своим родным краем считал Ярославщину, где прожил в общей сложности 31 год из 56 лет жизни. Местом действия самого большого произведения («Кому на Руси жить хорошо?») избрал именно ярославскую землю.

Великая русская река стала для Некрасова истоком восприятия жизни и сильнейшим импульсом для множества творческих начинаний. В поэме «**На Волге**» (1860) исходным мотивом становится горячий выплеск сокровенной эмоции отроческой души.

*О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда ещё всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По тёмно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке...*

-
- Александр Иванович Демченко – доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, главный научный сотрудник и руководитель организованного им Центра комплексных художественных исследований, действительный член (академик) Российской и Европейской академий естествознания, заслуженный деятель искусств России, обладатель Золотой медали В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и почётного звания «Основатель научной школы», главный редактор журнала «Манускрипт» и член редакционной коллегии ряда российских и зарубежных журналов, лауреат премии имени Д. Д. Шостаковича и Международной премии имени Николая Рёриха, почётный гражданин города Саратова.

И уже в детстве поэта в эту любовь ворвалась боль за тех подневольных, которые влачат свою горькую юдоль.

*Но вдруг я стоны услышал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик, –
И сердце дрогнуло во мне.*

Не эти ли душевные раны тех лет и дали России великого певца народных страданий?

*О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки –
И в первый раз её назвал
Рекою рабства и тоски!..*

С какой жгучей страстью бросает он столь заострённое обвинение всему строю жизни той поры («Рекою рабства и тоски!»). И поэта всечасно сопровождала эта двойственность отношения к Волге. С одной стороны, восторг, преклонение («Благословенная река, кормилица народа!»), с другой – неизбежная горечь и беспросветное отчаяние, как говорится о том в стихотворении «Родина» (1847).

*И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал жизнью последних барских псов,
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...*

Раннее творчество Некрасова пришлось на 1840-е годы, когда в искусстве ещё господствовали романтические тенденции. Они естественным образом затронули и молодого поэта, причём отголоски ставшего уже привычным круга выразительных средств и приёмов были ощутимы вплоть до середины 1850-х. Один из примеров тому – выдержанное в духе романтической баллады стихотворение «Давно...» (1855).

*Давно – отвергнутый тобою,
Я шёл по этим берегам
И, полон думой роковой,
Мгновенно кинулся к волнам.*

*Они приветливо яснили.
На край обрыва я ступил –
Вдруг волны грозно потемнели,
И страх меня остановил!
Поздней – любви и счастья полны,
Ходили часто мы сюда.
И ты благословляла волны,
Меня отвергнувшие тогда.
Теперь – один, забыт тобою,
Чрез много роковых годов,
Брожу с убитою душою
Опять у этих берегов.
И та же мысль приходит снова –
И на обрыве я стою,
Но волны не грозят сурово,
А манят в глубину свою...*

Параллельно этому уже в середине 1840-х Некрасов переживал внутренний перелом, который сам он осознал как «поворот к правде». Многие для этого осознания давало то, что в 1846 году он начинает издавать основанный ещё Пушкиным журнал «Современник» и превращает его в лучшее, влиятельнейшее издание своего времени. На его страницах публиковал свои последние статьи Виссарион Белинский, здесь начинал Лев Толстой, постоянно печатались Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Островский.

Находясь в Петербурге, свой путь в литературе Некрасов нащупывал через критический анализ всякого рода изъянов, свойственных жизни северной столицы. «Расследование по делу Петербурга», проведённое им, началось с ряда чрезвычайно объёмистых фельетонов 1844 года («Хроника петербургского жителя», «Петербургские дачи и окрестности», «Черты из характеристики петербургского народонаселения»). В том же году появился водевиль «Петербургский ростовщик».

В этих сочных бытописательных зарисовках «физиономия» города и его жителей проглядывает весьма колоритно. Порой в своих фельетонах автор взвешивает «плюсы» и «минусы» петербургского жития, стремясь хоть чем-то вознаградить горожанина за те лишения, которые приходится терпеть от климатических особенностей.

«Всех нас ожидает осень, без сомнения, грязная, холодная и сырая... Не сетуйте! За все неудовольствия, которые собирается наделать упрямно неблагоприятная природа, сторицею вознаградит вас искусство! В живописном источнике художественного наслаждения почерпнёте вы новые силы бороться с петербургской природою, великодушно простите ей все ухищрения, столько раз отравлявшие вашу жизнь, столько раз угрожавшие вашему здоровью погибелью!..

Есть у нас на Руси всякие климаты; но что касается до меня лично, то я охотнее согласился бы жить в Петербурге даже тогда, когда бы в нём круглый год царствовала осень, чем, например, в Саратове.

Итак, одно за другое – в Петербурге бедна и сурова природа, зато жителям его открыто всё, что есть в искусстве прекрасного... Где, например, кроме Петербурга, можете вы по целым часам застаиваться перед «Последним днём Помпеи» Брюллова? Где у нас на Руси, кроме Петербурга, найдёте вы такой французский театр?..»

И далее Некрасов перечисляет массу того, что может предоставить художественная жизнь только в Петербурге. Нетрудно почувствовать в сказанном не только юмористическую ноту, но и долю внутренней иронии. И, взвешивая баланс *pro et contra*, молодой литератор всё чаще склоняется к отрицательному взгляду на неблагоприятные условия жизни в столице. К примеру, уже с полной серьёзностью он говорит про петербургское лето: *«Донныне почти не проходило дня без дождя, соединённого с пронзительным ветром, доходившим иногда до свирепства, возможного только в бурю».*

Когда же его взор перемещается с Петербурга вообще на низовую жизнь города, всё омрачается донельзя. Так, толкуя о *«простом русском народе»*, Некрасов ссылается на наблюдения коллеги-журналиста: *«Осмотрев помещения, занимаемые тысячами этих людей в Петербурге, трудно представить себе, чтобы так мог жить кто-либо. Теснота, сырость, мрак, спёртый воздух, нечистота превосходят во многих из подобных жилищ всякое вероятие».*

Сам Некрасов непосредственно и очень подробно развил эту тему в написанном несколько позже развёрнутом очерке **«Петербургские углы (Из записок одного молодого человека)»** (1845), где его бытописательский талант погружается в «трясину» существования обитателей петербургского «дна». Чрезвычайно показательно уже самое начало этого повествования, когда его герой направляется через двор к ночлежке, в которой он намерен снять для проживания угол с нарами.

«Целые моря открывались передо мною; с ужасом взглянул я на свои сапоги и хотел воротиться; казалось, не было здесь аршина земли, на который можно было бы ступить, не рискуя увязнуть по уши. Я решился сначала держаться как можно ближе стены, потому что окраины двора были значительно выше середины; но то была обманчивая и страшная высота, образовавшаяся от множества всякой дряни, выливаемой и выбрасываемой жильцами из окон; ступив туда, нога вязла по колено, и в то же время в нос кидался неприятный и резкий запах».

Позднее этот начинающийся таким образом очерк был целиком включён в повесть **«Жизнь и похождения Тихона Тростникова»** (1848), где панорама петербургской жизни представлена глазами молодого провинциала в многочисленных ипостасях – чаще всего неприглядного свойства.

Отталкиваясь от впечатлений, зафиксированных в первых пробах пера, Некрасов зрелых лет создаёт обличительный «апофеоз» города на Неве времён второй половины XIX века – именно такова поэма **«О погоде»** (1858–1865). Эпиграфом к ней взяты слова из фольклорного стиха, обозначенные поэтом как *лакейская песня*: *«Что за славная столица / Развесёлый Петербург!»*

Какой же в видении певца русской неволи предстаёт краса и гордость Российской империи? В соответствии с заявленным заголовком поэма открывается традиционным выпадом в адрес метеоусловий Северной Пальмиры: только что *«Вся столица молилась, / Чтоб Нева в берега воротилась»* (то есть чудом удалось уберечься от очередного наводнения), но теперь приходится терпеть привычные погодные невзгоды.

*Начинается день безобразный –
Мутный, ветренный, тёмный и грязный.
Ах, ещё бы на мир нам с улыбкой смотреть!
Мы глядим на него через тусклую сеть,
Что как слёзы струится по окнам домов
От туманов сырых, от дождей и снегов!*

Подобное гнетёт каждого, и каждый в сердцах готов сказать: «Злость берёт, сокрушает хандра, / Так и просятся слёзы из глаз».

*Ветер что-то удушил не в меру,
В нём зловеющая нота звучит,
Всё холеру – холеру – холеру –
Тиф и всякую немочь сулит!
Все больны, торжествует аптека
И варит свои зелья гуртом;
В целом городе нет человека,
В ком бы желчь не кипела ключом...*

И, конечно же, привычная картина, когда над городом повисает густой туман – «душный, угрюмый, гнилой»: тогда, без солнца, «вся роскошь столицы – ничто».

Отталкиваясь от погодной специфики, автор не без умысла говорит в основном об осенней слякоти и жестоких морозах, хотя и в тёплую погоду город преподносит массу малоприятного: эти каналы, «что летом зловонны», грязь на улицах, и город насквозь пропитан «смесью водки, конюшен и пыли – / Характерная русская смесь».

«Под аккомпанемент» ненастной погоды поэт нанизывает череду горестных сюжетов, каждый из которых представляет собой «тяжёлую сцену» (некрасовская оценка первого из этих сюжетов).

Вот везут гроб мелкого чиновника.

*Петербург ему солон достался:
В наводнение жену потерял,
Целый век по квартирам таскался
И четырнадцать раз погорал.
А уж службой себя как неволил!
В будни сиднем сидел да писал,
А по праздникам ноги мозолил –
Всё начальство своё поздравлял.*

Даже сама смерть превращается для этого персонажа в пресловутые тридцать три несчастья:

- «Как ни дорого бедному жить, / Умирать ему вдвое дороже»;
- на похоронах ни единой родной души рядом;
- по дороге на кладбище дроги зацепила офицерская коляска, так что гроб вываливается на дорогу;
- в могильной яме «по колено вода», и покойника забрасывают «жидкой грязью».

Вот крестьянского парня сдают в рекруты, и слышится «рыдание баб истеричное».

*По ведёрочку слёз на сестрёнок уйдёт,
С полведра молодухе достанется,
А старуха-то мать и без меры возьмёт –
И без меры возьмёт – что останется!*

Или: «Под жестокой рукой человека, / Чуть жива, безобразно тоща, / Надрывается лошадь-калека», и погонщик злобно избивает клячу не только кнутом, но и поленом.

И так далее.

Иные беды несут с собой петербургские морозы.

*Всевозможные тифы, горячки,
Воспаленья – идут чередом,
Мрут как мухи извозчики, прачки,
Мёрзнут дети на ложе своём.*

И тут же автор с убийственно мрачной иронией высказывает пожелание:

*Умирай же, богач, в стужу сильную!
Бедняки пускай осенью мрут,
Потому что за яму могильную
Вдвое больше в морозы берут.*

Разумеется, главный адрес всего, о чём вещает поэма «О погоде», – петербургская голь перекатная и беспросветность её существования: повсюду «холод, голод, сырые жилища... смрад и копоть... детей раздирающий плач / На руках у старух безобразных». Эта житейская тьма кромешная, этот петербургский ад являет собой предельно пессимистическое направление того критического реализма, который во второй половине XIX столетия буквально вопил о неблагополучии российского бытия.

Выполнена столь горестная страница отечественной словесности в типичном строе некрасовской лексики и эстетики: без малейших «поэтических» красот и витаний, на основе наглядной жизненной конкретности, с максимальной простотой слога и с его характерным «прозаизмом» (проза, положенная на ритм и рифму).

Вхождение в большую литературу было непростым и отнюдь не стремительным. И только десятилетие спустя после первых опубликованных вещей, то есть с середины 1850-х годов, начинался «настоящий» Некрасов.

Вехой расцвета его творчества стала вышедшая в 1856-м книга стихов, о которой Н. Чернышевский писал автору: «Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» и «Мёртвые души» имели такой успех». Сам поэт удивлялся: «О книге моей пишут чудеса – голова могла бы закружиться... Неслыханная популярность, успех, какого не имел и Гоголь!»

Книга эта во всей полноте обозначила магистрали художественных устремлений, выросших позднее в то, что стали именовать некрасовским направлением: ярко выраженная социальная направленность, критический реализм, народность, демократизм, гражданская функция обличителя «верхов» и заступника угнетённых. Отныне он окончательно осознаёт себя

народным поэтом («Я лиру посвятил народу своему» – слова, сказанные в конце жизни).

То был качественно новый этап отношения к народу, основанный на подлинно глубинном проникновении в чувства и мысли людей из низовой среды. В связи с этим К. Чуковский отметил такую отличительную особенность: среди русских поэтов той поры было немало тех, кто сострадал народу, но говорить от его лица умел только Некрасов. Удавалось ему это благодаря способности слить авторский внутренний мир с миром народной жизни и соответственно – слить свой индивидуально-лирический голос с народно-поэтической образностью.

Народ для него – это прежде всего крестьянство как абсолютно преобладающий слой тогдашней России. И он «отождествлял себя с крестьянской Россией, заговорил от её имени и её языком» (В. Жданов). Примечательна в данном отношении поэма «Коробейники» (1861) с её посвящением «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды Костромской губернии)». То есть поэт-интеллигент без всяких околичностей «якшается» с простым людом.

Вовсе не идеализируя крестьянскую массу, констатируя её темноту и забитость, Некрасов всеми силами утверждал непреходящие ценности народного бытия и славил труд, которым живёт русская деревня. О чём у него говорит крестьянский парень (стихотворение «Дума», 1861)?

*Эй! возьми меня в работники,
Поработать руки чешутся!
Повели ты в лето жаркое
Мне пахать пески сытучие,
Повели ты в зиму лютую
Вырубать леса дремучие –
Только треск стоял бы до́ неба,
Как деревья бы валялися;
Вместо шапки, белым инеем
Волоса бы серебрилися!*

И русская женщина хороша не только своей осанкой, но и умением работать (поэма «Мороз, Красный нос», 1864).

*Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.*

*И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах – то готова копна!*

Вот почему в стихотворении «Железная дорога» (1864), обращаясь к подрастающим из господского племени, поэт говорит:

*Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.*

Воздвигая литературный памятник народной России и тому, на что она была способна, определяющей для себя Некрасов избрал тему страданий обездоленных масс. Среди венков на его похоронах был и с надписью: «Певцу народных страданий».

Ф. Достоевский по-своему проакцентировал столь сущностную мотивацию творческих устремлений поэта: «*Это было раненое сердце – и не закрывающаяся рана эта и была источником его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия*».

Будучи свидетелем нескончаемой юдоли людской, горести и нужды человеческой, Некрасов в основном об этом и писал, бесконечно варьируя соответствующие мотивы. При этом его обострённая чуткость ко всему подобному проявлялась обычно не в плоскости «высоких» трагических материй, а в изображении повседневного быта, житейских будней.

Тем не менее, можно ли с большей болью поведать о бедственной доле труженика, чем сделано это в стихотворении «**Несжатая полоса**» (1854)?

*Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,*

*Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.*

*Кажется, шепчут колосья друг другу:
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,*

*Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зёрна купая в пыли!
(...)*

*Заяц нас топчет, и буря нас бьёт...
Где же наш пахарь? чего ещё ждёт?
(...)
Ветер несёт им печальный ответ: –
Вашему пахарю моченьки нет.*

*Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.*

Или можно ли представить себе более горькую и безысходную иронию:

*Надо мной невала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка,
Будешь жить ты припеваючи!»*

*И сбылось, по воле Божией,
Предсказанье моей матушки:
Нет богаче, нет пригожее,
Нет нарядней Калистратушки!*

*В ключевой воде купаюся,
Пятернёй чешу волосыньки,
Урожаю дожидаясь
С непосеянной полосыньки!*

От подобных конкретно-бытовых наблюдений и зарисовок поэт поднимался к самым широким обобщениям, за которыми вставала вся крестьянская Россия. Поистине программным в этом отношении стало стихотворение «**Размышления у парадного подъезда**» (1858) – не случайно его строфы стали любимой студенческой песней того времени («Назови мне такую обитель...»).

*Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
(...)
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля –
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснёшься ль, исполненный сил,
Иль, судёб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил, –
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..*

В ряде случаев Некрасов считал необходимым указать на виновников людских несчастий, в том числе позволить себе выпад против верховной власти. К примеру, в поэме «**Коробейники**», говоря об этом, он подразумевал бедствия Крымской войны (здесь обращает на себя внимание без какой-либо вуали адресованный монарху зачин «Царь дурит...»).

*Царь дурит – народу горюшко!
Точит русскую казну,
Красит кровью Чёрно морюшко,
Корабли валит ко дну.
Перевод свинцу да олову,
Да удалым молодцам.
Весь народ повесил голову,
Стон стоит по деревням.*

Порой поэт добивается изображения невероятной концентрации обрушивающихся на человека невзгод. Так, в стихотворении «**Еду ли ночью...**» (1847) «совмещены все ужасы бедности, голода, холода» (А. Григорьев): прошлое героини безотраднo, настоящее чудовищно, будущее безнадежно –

в четырёх строфах, как в одном сильном аккорде, слито всё, что есть мрачного в поэтике Некрасова.

Вот почему один из цензоров, признавая талантливость поэта, с сожалением и не без доли справедливости доносил в 1856 году: «Муза господина Некрасова – одна из самых мрачных, он всё видит в чёрном цвете».

И сразу же следует упомянуть ещё один отклик поэта на Крымскую кампанию – стихотворение «**Внимая ужасам войны...**» (1855). Это из тех произведений, которые с предельной отчётливостью обнаруживают глубину некрасовского мирочувствия, его проникновение в самую суть.

*Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя.
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна –
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слёзы –
То слёзы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...*

Такова одна из граней в обрисовке женской доли-недоли, о которой Некрасов, как никто другой, писал проникновенно и с исключительным состраданием. Поэтому стоит упомянуть о ещё одном венке на его могиле с краткой надписью: «От русских женщин».

В одном из последних произведений (поэма «**Мать**», 1872) сам поэт имел все основания сказать: «Я всю жизнь за женщину страдаю». А как программная для него эта тема была сформулирована в начале стихотворения «**В полном разгаре...**» (1862).

*В полном разгаре страда деревенская...
Доля ты! – русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать...*

В одном из самых ранних стихотворений Некрасова, ставшем народной песней, с жестокой правдивостью рассказывается о том, как реальная жизнь убивает любые мечтания молодости. И так – «**Тройка**» (1846), где начало наполнено восхищением перед неотразимым очарованием юной селянки.

*Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу –
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.*

*И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.*

*На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьётся алая лента изриво
В волосах твоих, чёрных как ночь...*

И вот такой красной девице на загляденье суждена беспросветная юдоль серой, горькой, «сермяжной» жизни, на которую обречены все и вся.

*Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.*

(...)

*И в лице твоём, полном движенья,
Полном жизни, – появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.*

*И схоронят в сырую могилу,
Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь...*

Именно так, не оставляя ни малейших иллюзий. Поэтому в конце стихотворения «Свадьба» (1855), предсказав невесте множество сплошных горестей, автор, хорошо зная жизнь, говорит в последней строке: «Бедная, лучше вперёд не гляди!»

О том, что такой женщине счастье может привидеться только в грёзах, вещает один из высших шедевров Некрасова – поэма «Мороз, Красный нос». Начинается она настоящим гимном во славу тех, кому от природы дано всё для счастья.

*Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивой силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...*

Преклоняясь перед «красавицей, миру на диво», поэт, словно из рога изобилия, разбрасывает всё новые перлы восторга: «Пройдёт – словно солнце осветит! / Посмотрит – рублём подарит!.. Коня на скаку остановит, / В горящую избу войдёт!» – памятные строки, навсегда вошедшие в литературный портрет русской женщины.

Во второй части поэмы вводится полуметафорический, полуфантастический мотив, связанный с образом, давшим поэме название. Снег, холод,

мороз уже многократно проступали в предшествовавшем повествовании, но теперь этот образ является «собственной персоной».

*Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.*

*Глядит – хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?*

*Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?*

*Идёт – по деревьям шагает,
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.*

Это из редких у Некрасова, но драгоценно-хрестоматийных пейзажных зарисовок. И, как всегда у него, – ничуть не самоценная данность, а то, что «работает» на смысловой стержень произведения. В данном случае у замерзающей в стуже женщины в мерцающем сознании засветилось чаемое – то, что не дала ей реальная жизнь.

*Нет в мире той песни прелестней,
Которую слышим во сне!*

*О чём она – Бог её знает!
Я слов уловить не умел,
Но сердце она утоляет,
В ней долнего счастья предел.*

*В ней кроткая ласка участия,
Обеты любви без конца...
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходит с лица...*

На этом многоточии поэма и заканчивается. Очнётся ли Дарья или навек застынет «в своём заколдованном сне» – не суть важно. Главное состоит в донесении трагизма авторской мысли: счастье русской крестьянки мыслимо только в забытии.

В известном стихотворном диалоге «Поэт и гражданин» (1856) со всей отчётливостью выражен один из резонансов гражданина, который стремится побудить поэта служить всеобщему благу.

*С твоим талантом стыдно спать;
Ещё стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...*

Эта тирада завершается знаменитым:

*Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.*

И совершенно понятно, на что, по мнению Некрасова, должна быть «в годину горя» нацелена эта гражданственность. Он хотел видеть в русском писателе поборника интересов угнетаемых масс, отводил ему роль «учителя и по возможности заступника за безгласных и принижённых». Сам он был именно таким, и в письме к умирающему поэту студенты Петербурга и Харькова называли его тем, «кто зажигал в нас жгучую любовь к народу и воспламенял ненависть к его притеснителям».

Даже когда Некрасов внешне смиряет свой социально-критический пыл, он не может обойтись без колких замечаний и гражданских подтекстов. Так, в поэме «Балет» (1866), перечисляя записных посетителей великосветских зрелищ, он отпускает по их адресу предельно резкую характеристику: «Безличная сволочь салонов».

И уже начисто забыв про «балет», возвращается к своей магистральной теме: «Тяжело ты – крестьянское горе!». Таким образом, произведение в целом оказывается построенным на противопоставлении бессмысленного и безнравственного коловращения праздных верхов и бедственного положения трудовых низов.

То, что делал Некрасов в искусстве, напрямую смыкалось с идеями возникшего в России середины XIX века народовольческого движения. В его представителях он находил цвет нации. Именно их поэт имел в виду, когда писал стихотворение «Памяти Добролюбова» (1864), где так примечательно восклицание:

*Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!*

И столь же красноречива категорически выраженная сентенция в заключительном безрифменном троестрочии.

*Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...*

Некрасов принадлежал к когорте так называемых «шестидесятников» (люди передовой мысли, выдвинувшиеся в бурные 1860-е) и, представляя их наиболее радикальное крыло, отличался бескомпромиссностью своей гражданской позиции. Исходя из неё, стремление пробудить народ к борьбе за лучшую долю не ограничивалось у него общей боевой окрылённостью, но и приближало к той грани, когда он начинал звать Русь «к топору», как находим это в стихотворении «Душно без счастья» (1868).

*Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплеши!..*

Уже на исходном этапе своего творчества поэт пишет о страданиях народа так открыто и ярко, что печально известный литератор Ф. Булгарин доносит в III отделение: «Некрасов – самый отчаянный коммунист, он страшно вопиет в пользу революции». Для этого были определённые основания, так как он в качестве идеала шёл от постулатов, провозглашённых Французской революцией, именуя их «Братством, Равенством, Свободой» (стихотворение «Песня Ерёмушке», 1859).

Будучи выразителем идей и чувств революционной демократии, поэт увещивал в своих стихах и поэмах тяжёлый жребий, героизм и самоотверженность деятелей русского освободительного движения. В 1856 году был объявлен манифест об амнистии сосланным в Сибирь декабристам. И в начале 1870-х Некрасов создаёт две поэмы о декабристах, а также о тех их жёнах, которые последовали за ними в сибирскую ссылку: «Дедушка» (1870) и «Русские женщины» (1871–1872), где он сознательно сближает героев 1825 года с революционерами-народниками своего времени.

Прототипом героя первой из этих поэм отчасти послужил С. Волконский, по смерти которого в 1865 году герценовский «Колокол» писал: «Мир праху твоему, благородная жертва гнусного самодержавия, из любви к Отечеству променявший генеральские эполеты на кандалы каторжника».

Вторая поэма состоит из двух самостоятельных произведений, в каждом из которых отмечено время действия: «Княгиня Трубецкая (поэма в двух частях, 1826 год)» и «Княгиня М. Н. Волконская (Бабушкины записки, 1826–1827)». Всю поэму пронизывает чувство высочайшей гордости за подобных женщин.

В отклике на это произведение «Отечественные записки» в 1877 году чутко отметили актуальную направленность: «Героини Некрасова мыслят, говорят и действуют совершенно подобно тому, как стали бы мыслить, говорить и действовать лучшие и образованнейшие женщины того же круга в наше время».

Только что рассказывалось о запечатлённом в стихах поэта тяжёлом жребии подвижников свободы. Но точно так же можно сказать и о терновом венце некрасовской Музы. В стихотворении, ей посвящённом («Муза», 1852), он признаёт, что для неё была уготована участь «Печальной спутницы печальных бедняков, / Рождённых для труда, страданья и оков». Это пришло из того предназначения, которое Некрасов ощущал изначально – как говорится о том в стихотворении «Умру я скоро...» (1867).

*Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведёт.*

Понятно, что, упоминая о «злобе сердца», то есть о том главном, что питало творчество Некрасова, он с горечью констатирует в поэме «Саша» (1855) о своей поэзии: «Много в ней правды, да радости мало...» Но такова уж была та удивительная эпоха – эпоха, вызвавшая к жизни людей, близко принимавших к сердцу горе народное. Об этом писал и сам Некрасов (стихотворение «Мать», 1868).

*Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее – тернового венка...*

Вновь и вновь осмысливая путь своей поэзии, Некрасов подчёркивал, что поскольку её смысл составляет «та любовь, что добрых прославляет / И что клеймит злодея и глупца», тем самым её направленность неизбежно «венцом терновым наделяет / Беззащитного певца». Последнее поэтическое слово, произнесённое Некрасовым, опять-таки касалось его творчества, которое так не жаловали власть имущие: «эту бледную, в крови, / Кнутом иссечённую Музу...»

Венчает творчество Некрасова поэма «Кому на Руси жить хорошо?», над которой он работал с перерывами последние полтора десятилетия жизни (1863–1877). Этот итоговый труд вобрал в себя всё главное из художественных устремлений поэта. Незадолго до смерти он сказал: «Одно, о чём сожалеть глубоко, это – что не кончил свою поэму».

Но и в таком виде она поражает грандиозностью замысла, широтой охвата жизни России, огромной галереей лиц, остротой социально-критического анализа – вот что сделало эту эпопею в определённом роде энциклопедией времени заката помещичьей власти, крестьянской реформы и её последствий, векового терпения и нарастающего протеста народных масс.

В своём последнем творении Некрасов ориентировался на жанровые формы народного предания, притчи, утопии, опирался на традиции былинной, сказочной и песенной поэтики, используя её всевозможные пласты (поверья, поговорки, разговорный крестьянский язык и народное острословие) и добиваясь органичного сочетания фольклорно-сказочного сюжета с реальными образами.

Всё это начинается с зачина, которым открывается поэма и который затем повторяется многократно, как то и подобает структуре русских эпических сказаний.

*Кому живётся весело,
Вольготно на Руси?*

Это вопрошание, заявленное и в заголовке поэмы (к сожалению, принципиально важный авторский знак вопроса проставляется далеко не во всех изданиях), определяет её суть – суть и сюжетную, и смысловую.

Как ни удивительно для привычных представлений Некрасова, его странники-искатели находят одного-двух мужиков, которые считают себя счастливыми. Это солдат, прошедший ад войны и оставшийся живым, и каменотёс, радующийся своей недюжинной силе. Однако такое счастье весьма сомнительно, так что окружающие не очень-то доверяют их рассказам про свою удачливость.

Замыслом автора было развенчать и домысл его героев, согласно которому заведомо хорошо живётся помещику, попу, чиновнику, купцу, вельможе (министру) и царю. О том, что это отнюдь не так, поэт успел растолковать только касательно первых двух.

К примеру, оказывается, что помещик счастливым был лишь до реформы, когда своё назначение он видел *«в том, чтоб имя древнее, / Достоинство дворянское / Поддерживать охотою, / Пирами, всякой роскошью / И жить чужим трудом»*. Этот сатирикон сожалений завершается горестным признанием.

*Коптил я небо Божие,
Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную
И думал век так жить...*

С подобным ушедшим «счастьем» перекликается занятно поданное повествование «Поседыш» из второй части поэмы. Так крестьяне называли князя, чудака-самодура, перед которым по просьбе его наследников они ломали «каместь»: будто бы всё осталось по-старому и не было никакой отмены крепостного права.

Подобные «прибаутки» и внешне забавные гримасы жизни только оттеняют главное – обманутую, обобранную реформой 1861 года крестьянскую Русь. В самом начале поэмы, экспонируя в качестве её героев семь мужиков, Некрасов с горькой иронией обозначает их местожительство.

*Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова –
Неурожайка тож.*

Позднее, когда они объясняют прохожему цель своих странствий, то целью этой называются невиданные ими дотоле «райские кущи».

*«Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошённой волости,
Избыткова села!..»*

Видят же крестьяне-ходоки всюду одно и то же. Одно и то же – это прежде всего то, на что печально сетует встреченный ими собрат.

*Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин!*

Понятно, что названы те, кому приходилось отдавать всё до последней нитки: господин – помещик, царь – государство, Бог – церковь.

Наконец, и самая скорбная для Некрасова тема – та, что раскрывается в повествовании под названием «Крестьянка» (из третьей части поэмы), где рассказывается о судьбе русской женщины, о преследующих её напастях и бедах, о бесконечных тяжких трудах, от которых –

*Нет косточки неломаной,
Нет жилочки нетянутой,
Кровинки нет непорченной –
Терплю и не ропщу!*

По словам цензора Н. Лебедева, Некрасов выставил в своей поэме «в самых мрачных красках всевозможные страдания мужика, весь ужас прежнего рабского его положения и весь безграничный произвол помещичьего права... Рисуемые поэтом картины страданий, с одной стороны, и произвола – с другой, превосходят всякую меру терпимости и не могут не возбудить негодования и ненависти».

На волне «негодования и ненависти» рождаются натуры, подобные Грише Добросклонову, который для автора и есть подлинно счастливый человек. Прототипом этого образа был Н. Добролюбов, и смысл существования подобных ему поэт сформулировал так:

*Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего!*

Служение столь высокой цели в России того времени требовало самоотверженности, способности принести себя в жертву общему делу, и Некрасов не скрывает, что ждёт таких подвижников.

*Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чухотку и Сибирь.*

Именно Грише Добросклонову приписывает поэт «песню новую», утверждая, что «горячо сказалась правда в ней великая!» А правда эта заключена прежде всего в арке крайних строф – правда о загадочно двойственном складе России:

*Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!*

(...)

*Русь не шелохнется,
Русь – как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая, –*

*Встали – небужены,
Вышли – непрошены,
Жита по зёрнушку
Горы наношены!*

*Рать подымается –
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!*

*Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь!*

В конечном счёте, строй поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» проникнут чувством неискоренимой жизненной энергии народа и верой в осуществимость идеалов справедливости и добра. Иначе не появлялись бы в ней страницы, подобные гимну весеннего обновления.

*Хорошо, светло
В мире Божием!
Хорошо, легко,
Ясно на сердце.
Мы идём, идём –
Остановимся,
На леса, луга
Полюбujemyся.
Полюбujemyся
Да послушаем,
Как шумят-бегут
Воды весиние.
Как поёт-звонит
Жавороночек!*

Та же поляризация образного мира наблюдалась и во всём творчестве Некрасова. С одной стороны, ощущение кромешного мрака существования, что доходило до грани отчаяния. И прежде поэта не раз посещали сомнения в пользе той борьбы словом, которую приходилось вести с такими жертвами. В маленькой поэме «Убогая и нарядная» (1859) после бичующих ямбов вдруг неожиданно следует горестная констатация.

*Но умолкни, мой стих!
И погромче нас были витийи,
Да не сделали пользы пером...
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведём.*

Впоследствии его всё больше преследовали вечные сомнения, неуходящая раздвоенность в отношении результатов той освободительной борьбы, которую он вёл своим литературным словом и которую пытались вести делом народовольцы. Вот то, что завершает большое стихотворение «**Рыцарь на час**», написанное в 1862 году («*Суждены вам благие порывы, / Но свершить ничего не дано...*»), и то, что открывает созданное годом позже стихотворение «**Надрывается сердце...**»:

*Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабанов, цепей, топора.*

То есть констатируется тот факт, что мир насилия по-прежнему торжествует и не видно никаких перемен к лучшему. К середине 1870-х в его поэзии всё чаще звучит нота горечи в связи с тем, что уходило боевое время «шестидесятничества»: «*Смолкли честные, доблестно павшие, / Смолкли их голоса одинокие...*» («**Смолкли честные...**», 1874).

Для него, все силы отдавшего борьбе с неправым миропорядком, это было настоящей трагедией. Головой он понимает объективную неизбежность происходящего и в стихотворении «**Отъезжающему**» (1874), адресованном тем, кто вынужден покинуть Россию, трезво рассуждает об этом.

*В море царящего зла
Прямо и смело направить бы лодку –
Сунься-ко!.. Сделаешь шаг,
А на втором перервут тебе глотку!*

Но подобное понимание не снижало остроты его переживания за тех, на кого обрушивались царские репрессии (стихотворение «**Страшный год**», 1874).

*Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня!
Впечатленья крови и убийства,
Вы вконец измучили меня!*

И как своего рода приговор себе звучит стихотворение «**Старость**» из цикла «Последние песни» (1877):

*Не лелей никаких упований,
Перед разумом сердце смири,
В созерцаньи народных страданий
И в сознанье бессилья – умри!..*

Итак, к завершению жизненного пути Некрасова приходится признать ощутимое усиление в его творчестве позиций полюса мрака. Но, с другой стороны, этому противостояло просветление образного строя, особенно заметное в 1860-е годы.

С точки зрения привычной для поэта тематики обращает на себя внимание большое стихотворение «**Железная дорога**». В самом деле, казалось бы, здесь использованы подлинные факты, относящиеся к строительству ветки, соединившей Петербург и Москву (1843–1851), что осуществлялось при помощи жестоких принудительных мер.

Но, даже рисуя страшные будни этого строительства, в данном случае Некрасов воссоздаёт образ труда как то, на чём стоит всё в человеческом мире. И за бесконечной жертвой, которую несёт русский народ, таится ощущение нескончаемости его сил.

Таков центральный раздел этой маленькой поэмы. И самое примечательное состоит в том, что он заключён в арку света обрамляющих его «прелюдии» и «постлюдии».

Пейзажное вступление несёт в себе упоительное чувство душевной отрады, рождающееся при здоровом и полнокровном восприятии родного ландшафта.

*Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной,
Словно как тающий сахар лежит;*

*Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор!
Листья поплёкнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр.*

*Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни –*

*Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...*

В преддверии центрального раздела с его картинами каторжного труда в этой чудесной поэтической зарисовке читается мысль: «нет безобразья в природе!», но сколько ужасного в человеческой жизни. Тем не менее, «постлюдия» исполнена веры в лучшее будущее, хотя вера эта овеяна грустью по поводу его отдалённости.

*Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную –
Вынесет всё, что Господь ни пошлёт!*

*Вынесет всё – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся ни мне, ни тебе.*

Стоит добавить и то, что всё в «Железной дороге» решено в характере беседы с любознательным подростком, где слово старшего исполнено доброты и задушевной теплоты тона: *«Ванечка, знаешь ли ты?.. Ты уж не маленький!.. Ты приглядишься к нему, Ваня, внимательно...»*.

Той же добротой светится и образ старого декабриста в поэме **«Дедушка»**:

- *«Как младенец глядит, / Как-то апостольски просто, / Ровно всегда говорит...»*;

- *«Озими пышному всходу, / Каждому цветику рад...»*;

- *«И улыбнётся так чудно, / Радостью весь расцветёт»*.

Всё это очень сродни детскому мировосприятию, обращение к которому было для Некрасова желанной отдушиной среди столь привычных для его поэзии страдальческих настроений. Кроме того, в подрастающем поколении он предполагал людей будущего, избавляющихся от нравственных издержек их взрослых современников.

Ракурсы этой тематической линии достаточно многообразны. Для начала можно напомнить стихотворение **«Генерал Топтыгин»** (1867) – занимательно рассказанный анекдот, название которого в обиходе русской речи стало притчей во языцех.

Эта вещица вошла в состав цикла «Стихотворения, посвящённые детям», написанного на шуточный лад. Найденную здесь тональность художественного высказывания поддержало большое стихотворение **«Дедушка Мазай и зайцы»** (тот же 1870 год, что и «Дедушка»), написанное в мягкой, добродушной манере и с сочным юмором.

Открывала данную линию небольшая поэма **«Крестьянские дети»** (1861), в которой всё залито солнцем доброты. И даже когда поэт считает нужным показать оборотную сторону деревенской жизни, он выдвигает на передний план скорее забавные, чем драматические элементы. Самоочевидный пример тому – хрестоматийно известная зарисовка, где забавность случая подчеркнута авторским комментарием: *«Ребёнок был так уморительно мал»*.

*Однажды, в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок!
– Здорово, парнище! – «Ступай себе мимо!»
– Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки? – «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топот дровосека.)
– А что, у отца-то большая семья?
«Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я...»
– Так вон оно что! А как звать тебя? – «Власом».
– А кой тебе годик? – «Шестой миновал...
Ну, мёртвая!» – крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал.*

И ещё раз оттолкнёмся от стихотворения «Железная дорога» с открывающей его пейзажной «прелюдией». В чём-то сходную функцию образ природы выполняет в стихотворении «Зелёный Шум» (1862), к которому автор дал такое примечание: «Зелёный Шум – так народ называет пробуждение природы весной». И примечательная особенность: используя безрифменный стих, Некрасов добивается поразительно звонкоголосого звучания.

*Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!*

*Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зеленою косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клён...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему...*

*Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!*

Но как бы ни была великолепна эта пейзажная картина, она не становится здесь самоценной. Расцветающий мир природы проливает умиротворяющий свет на личную драму (герой замыслил убить изменившую ему жену) и одаряет мудростью христианского всепрощения.

*Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И всё мне песня слышится
Одна – в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И – Бог тебе судья!»*

В некотором роде откликом на произнесённую здесь проповедь любви, как безмерно притягательного человеческого чувства, стала небольшая поэма «Горе старого Наума» (1874). Это рассказ о хозяйственном мужике, который жил припеваючи бобылём, но как-то, приметив счастье молодой пары, затосковал.

*«Я сладко пил, я сладко ел, –
Он думает уныло. –
А кто мне в очи так смотрел?..»
И всё ему постыло...*

Завершая рассмотрение образов душевного и духовного просветления, необходимо упомянуть стихотворение, которое в определённом смысле стало поэтическим завещанием Некрасова – «**Сеятелям**» (1876). словно отринув столь присущий себе социально-критический пафос и поднимаясь над неуёмным кипением страстей человеческих, он призывает: «*Сейте разумное, доброе, вечное...*»

Отметив подобную «оппозицию» к самому себе, мы тем не менее отчётливо сознаём, что магистраль творческих устремлений Некрасова была теснейшим образом связана с критическим реализмом второй половины XIX века, и в поэзии он был его ведущим представителем. Тематически это касалось прежде всего крестьянской России – как дореформенной, так и пореформенной, но ошутимо затронул он и проблематику страны, вставшей после 1861 года на путь ускоренной капитализации.

В этом отношении вершиной у него стала поэма «**Современники**» (1875–1876), где он даёт сатирическую панораму нарождавшегося буржуазного уклада, не уступая М. Салтыкову-Щедрину в разящей силе гротеска и разнообразных форм условности.

То была только одна из граней свойственного его наследию интенсивного раздвижения тематических, жанровых и стилистических горизонтов поэтического творчества, что определило решительную реформу русской стиховой культуры. Это начиналось у Некрасова с самого широкого вовлечения фольклорных мотивов и народного языка – ведь, по его признанию, крестьянин может вставить «*слово меткое, / Какого не придумаешь, / Хоть проглоти перо!*»

Опираясь на фольклорные традиции, он виртуозно развил богатый и сложный ритмический строй стиха, добываясь его удивительной свободы и живой изменчивости. Один из многочисленных примеров – введённая в поэму «Коробейники» «**Песня убогого странника**» с её жалостливым приговариванием:

*Я лугами иду – ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!
Я лесами иду – звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!*

И, конечно же, от народно-песенной практики столь широко влилась в поэтику Некрасова соответствующая интонационная стихия. Об органичности её вовлечения красноречиво говорит тот факт, что отдельные его тексты стали песнями, которые воспринимаются исконно народными.

Одна из них – знаменитая «Коробочка», ритму которой поражаюсь К. Чуковский, отмечавший, что её «*бойкий и задорный хорей в сочетании с протяжными дактилями не имеет никаких прецедентов во всей предшествующей русской словесности*». Этой песней открывается поэма «**Коробейники**», и стоит напомнить, что таким словом именовали переходящих купцов.

*Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.*

*Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!
Выди, выди в рожь высокую!
Там до ночки погожу,
А завижу черноокою –
Все товары разложу.
Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись:
Подставляй-ка губы алые,
Ближе к милому садись!..*

Песенные формы у Некрасова очень разнообразны, как разнообразен у него и сам песенный слог. Приведём для примера зачин стихотворения «Похороны» (1861), где он пользуется певучей обиходной лексикой («затерялося», «шлялося»).

*Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.*

Умеет поэт сказать и совсем на народный манер, в том числе предвосхищая частушечный лад, как находим это в тех же «Коробейниках».

*Ой, ты зелье кабашиное,
Да китайские чаи,
Да курение табашное!
Бродим сами не свои.*

Касаясь пределов качественного обновления поэтического языка в творчестве Некрасова, находим, что на противоположном песенному слогу полюсе не менее широко представлено уподобление разговорной речи. Вот как выглядит это в диалоге «Поэт и гражданин».

Гражданин (входит)
*Опять один, опять суров,
Лежит – и ничего не пишет.*

Поэт
*Прибавь: хандрит и еле дышит –
И будет мой портрет готов.*

Гражданин
*Хорош портрет! Ни благородства,
Ни красоты в нём нет, поверь,
А просто пошлое юродство.
Лежать умеет дикий зверь...*

Поэт
Так что же?

Гражданин
Да глядеть обидно.

Поэт
Ну, так уйди.

Гражданин
Послушай, стыдно!..

И позже, после длинной тирады гражданина поэт по-свойски урезонирует его: *«Ты кончил?... чуть я не уснул, / Куда нам до таких воззрений!»*. Как видим, всё построено на очень свободной и живой разговорной интонации.

Таким образом, всё больше размывались привычные границы между поэтической и прозаической речью. Следовательно, вбирая в себя прозу обыденного существования со всеми его тяготами и заботами, поэзия Некрасова закономерно вбирала в себя «непоэтические» темы и слова, прозаизм деловой речи и просторечие.

Следствием данного процесса оказывалось то, что можно назвать прозой в стихах. У современников, настроенных на привычную лирическую волну, это отнюдь не всегда вызывало одобрение. И, например, чуткий к слову П. Чайковский мог бросить пренебрежительное: *«Некрасов с его ползающей по земле поэзией»*.

Однако, если преодолеть привычные представления о «поэтическом» и «поэтичности», невозможно не оценить удивительно адекватного соответствия «прозаического» стиха теме и характеру персонажей некрасовского творчества. Один из образцов такого стиля находим в стихотворении *«Забывтая деревня»* (1855) с использованной здесь безыскусной, нарочито «простенькой» формой изъяснения.

*У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избёнку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди – не будет!
«Вот приедет бафин – бафин нас рассудит,
Бафин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», – думает старушка...*

«Прозаизмом» творчества Некрасова объясняется исключительная интенсивность распространения повествовательно-сюжетных форм. Стихотворения у него часто оказываются новеллами, а поэмы – повестями. За этой ярко выраженной особенностью его стиля стояла огромная сила воплощения образов реальной жизни.

В данном отношении достаточно привести стихотворение *«В больнице»* (1855): столь характерный некрасовский нерв острого сочувствия человеческому несчастью облечён здесь в форму безупречно построенного стихотворного рассказа – лаконичного (ничего лишнего!) и проникновенного. После начального эпизода, где толкуется о том, что последний долг умирающим обитателям этой богадельни обычно воздают сторожа да дежурные, читаем следующее:

*Впрочем, не вечно чужою рукой
Здесь закрываются очи.
Помню: с прошибленной в кровь головой
К нам привели среди ночи
Старого вора – в остроге его
Буйный товарищ изранил.
Он не хотел исполнять ничего,
Только грозил и буянил.
Наша сиделка к нему подошла,
Вздрыгнула вдруг – и ни слова...
В странном молчанье минута прошла:*

Смотрят один на другого!
 Кончилось тем, что угрюмый злодей,
 Пьяный, обрызганный кровью,
 Вдруг зарыдал – перед первой своей,
 Светлой и честной любовью.
 (Смолоду знали друг друга они...)
 Круто старик изменился:
 Плачет да молится целые дни,
 Перед врачами смирился.
 Не было средства, однако, помочь...
 Час его смерти был странен
 (Помню я эту печальную ночь):
 Он уже был бездыханен,
 А всепрощающий голос любви,
 Полный мольбы бесконечной,
 Тихо над ним раздавался: «Живи,
 Милой, желанной, сердечной!»
 Всё, что имела она, продала –
 С честью его схоронила.
 Бедная! как она мало жила!
 Как она много любила!
 А что любовь ей дала, кроме бед,
 Кроме печали и муки?
 Смолоду – стыд, а на старости лет –
 Ужас последней разлуки!..

В качестве образцов повести в стихах можно назвать обе части поэмы «Русские женщины». Вторую из них завершает встреча Волконской с мужем в руднике. Воспринимая подобное, невольно задаёшься вопросом: уместна ли была бы в данном случае какая-либо иная поэтика и разве не достигнута здесь высшая степень сокровенности?

И вот он увидел, увидел меня!
 И руки простёр ко мне: «Маша!»
 И стал, обессиленный словно, вдали...
 Два ссыльных его поддержали.
 По бледным щекам его слёзы текли,
 Простёртые руки дрожали...
 Я только теперь, в руднике роковом,
 Услышав ужасные звуки,
 Увидев оковы на муже моём,
 Вполне поняла его муки,
 И силу его... и готовность страдать!
 Невольно пред ним я склонила
 Колени – и прежде чем мужа обнять,
 Оковы к губам приложила!..

Николай Алексеевич Некрасов, кардинальным образом преобразовавший язык русской поэзии, – одна из ключевых фигур литературного процесса второй половины XIX века. Когда он умирал, ему принесли письмо

из далёкой сибирской ссылки, в котором Н. Чернышевский просил друзей: *«Если Некрасов жив ещё, передайте ему, что я убеждён, слава его будет бессмертна, вечна будет любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из русских поэтов».*

В Ярославле на Волжской набережной в 1859 году установлен памятник Некрасову (скульптор Г. Мотовилов). В селе Карáбиха находится одна из самых крупных усадеб Ярославской губернии – здесь поэт жил и работал многие годы, и теперь это государственный литературно-мемориальный музей-заповедник, где ежегодно проводятся Некрасовские праздники поэзии. В 1971 году произведения, написанные в Карабихе, были изданы отдельным сборником. Кроме того, в честь поэта в Ярославской области назван посёлок Некрасово, где когда-то было имение его отца.



**Наталья
ЛЕВАНИНА**

СЕРГЕЙ ПОТЕХИН – ПОЭТ, ОТШЕЛЬНИК, ИНОПЛАНЕТАНИН

Очерк

ТОЛСТАЯ КНИГА С ПОРТРЕТОМ

Передо мной «Весь Потехин» (Кострома, 2020). Именно так называется эта необычная книга стихов. В ней на восьми-десяти страницах собрано всё, что её составители (К. В. Сезонов, Е. А. Балашова) сумели отыскать из опубликованного и сохранившегося. На обложке стилизованный портрет автора – поэта Сергея Потехина.

Книга необычная и портрет необычный. Про книгу чуть позже, а пока рассмотрим изображение поэта. Нечасто у нас на хорошо изданных толстенных книгах помещают изображение ныне (слава Богу!) здравствующего автора (фото Е. Балашовой, коллаж Н. Кудрякова). А тут не просто фотопортрет. Изображение, намекающее ни много ни мало на известный портрет Данте Алигьери кисти не менее знаменитого Сандро Боттичелли.

Ого! – было первой моей реакцией. Ну, дают земляки! Какую недетскую параллель навели!

А ведь действительно, если приглядеться, внешне очень они похожи: первый поэт эпохи Возрождения и ныне живущий русский поэт. Кстати, поразительное сходство именно с картиной Бот-

-
- Наталья Юрьевна Тяпугина (Наталья Леванина) – автор около двух сотен научных, литературно-критических, учебно-методических и художественных работ. Среди художественных книг автора: «Уроки русского» (2004), «По реке, текущей в небо» (2008), «В саду ветров» (2009), «С некоторых пор» (2011), «Птица Феникс» (2013), «Галич» (2016), «Раба любви» (2017) и др. Автор научной монографии «Исповедь и проповедь Достоевского» (2004) и сборника литературно-критических работ «Литературная критика» (2020). Публиковалась в журналах «Москва», «Наш современник», «Октябрь», «Волга», «Дон», «Волга–XXI век», «Литература в школе», «Женский мир» (США); альманахах «Саратов литературный», «Краснодар литературный», «Эдита» (Германия), «Порт-Фолио» (США–Канада), «Другой берег», «Релга»; в электронном журнале «Новая литература» и многих других журналах и сборниках. Лауреат литературного конкурса им. М. Н. Алексеева, лауреат Международного конкурса литературоведческих, культурологических и киноведческих работ, посвящённого А. П. Чехову (2010). Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

тичелли. Не с суровым портретом кисти Рафаэля, не с грустным мечтателем на полотне Репина, подчеркнувшего «неотмирность» молодого поэта, а именно с психологически сложным изображением Данте, выполненным Боттичелли.

Сравните портреты. То же узкое, слегка удлинённое лицо, высокий лоб, тонкие губы. Та же зрелая мудрость во взоре, спокойствие и уверенность. Тот же один-в-один орлиный профиль. Тёмная, неприметная одежда на портрете Потехина, как и красное монашеское одеяние Данте, выполняют сходную функцию – обе подчёркивают скромность и аскетизм героев.

Есть и отличия. Из-под красной ткани, покрывающей голову итальянского классика, лукаво выбивается краешек белого колпака, намекающего на самоиронию, которой не бывает лишён ни один по-настоящему великий человек.

У Потехина колпак не виден. Но он есть. Не снаружи – внутри.

С колпаками, кажется, разобралась. А как быть с лавровым венком на голове, символом неоспоримых заслуг в искусстве? Ну, с Данте всё понятно: итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель. Создатель знаменитой «Божественной комедии». Впрочем, это сейчас его так Википедия величает. А при жизни – никаких почестей и венков, суровое изгнание из родной Флоренции и смерть на чужбине. Слава гораздо позже нашла итальянского героя.

А что означает венок на челе современного русского поэта? А вы взгляните в его глаза, и сами всё поймёте. Глаза-то смеются! Потехин будто забавляется и над венком, и над собой, и над нами, слегка сбитыми с толку.

Впрочем, лавровый венок в символике раннего христианства означал совсем другое: не, прости Господи, горделивость и славу, а мученичество. И это, пожалуй, ближе к нашему герою, который отнюдь не жуирует по жизни. Хотя тянет он свою лямку привычно, без пафоса, порой даже весело. Такой весёлый мученик.

ОТСТУПЛЕНИЕ С БИОГРАФИЕЙ

Стихи Сергея Потехина я знаю давно. А вот автобиографию его – нет, не читала. К тому же лично с ним не знакома. Так что начну с его автобиографии, опубликованной здесь же.

Ай да Потехин, ай да!.. Давно я так не хохотала. Ну, всех умыл! Идя навстречу пожеланиям трудящихся, то бишь составителей и издателей, сотворил-таки своё жизнеописание. Ничего подобного я не читывала, хотя много произведений в этом жанре через мои руки прошло.

Писательские автобиографии бывают разные. Сдержанные, лаконичные, на пару страниц, и болтливые, в нескольких томах. Жанровые разновидности тоже на любой вкус: исповедь, дневник, мемуары, автобиографический роман. Но неизменно на первом месте – автор и его жизнеописание.

Какие авторы – такие и биографии: дотошные и вральные, мстительные и великодушные, весёлые и занудные. Случается и так, что писатель вдруг так вдохновится этой сладкой темой и так распишется, что автобиография его выйдет интереснее всех остальных его сочинений («Автобиография» Агаты Кристи, например). Одни в своей биографии осторожничают, стараются никого не обидеть, другие сдают своё окружение с потрохами. Некоторые ваяют свою биографию с суровой решимостью войти в литературу не мытьём, так катаньем. Есть и такие, которые получают от процесса явное удовольствие и от души развлекаются, будто вовсе и не думают о послед-

ствиях своей лихости (все три автобиографических романа Стивена Фрая, например).

Некоторые автобиографические книги читать неловко из-за их нехорошей откровенности и выболтанных подробностей своей и чужой интимной жизни (Генри Миллер). Иные напрягают тем, что с первой же страницы выдают шкурные страхи и застарелые комплексы автора: а ну как кто-то (в первую очередь жена!), прочитав написанное, рассердится да и выбросит в сердцах на помойку все его пожелтевшие бумажные завалы, вместо того, чтобы с трепетом и слезой перечитывать сотворённое гениальным мужем и размещать всё это добро в музейчике (пусть даже маленьком, школьном) его, писателя, светлого имени.

Авторы, талантом поскромнее и характером поназойливее, идут на штурм автобиографического жанра, как на последнюю возможность прилепиться к литературе. О, эти дотошные ребята помнят всё, что им в этой затее нужно! Разбуди их ночью – доложат и не собьются: кто из известных и успешных их отметил и похвалил, что именно сказал и когда это случилось. Умолчат они только о таких сопутствующих этим эпохальным событиям обстоятельствах, как место действия (кухня, пивнуха, ресторация) и состояние оценщика (чаще всего сильно нетвердое). Понятно, что запивший оценщик готов хвалить кого и за что угодно, лишь бы этот «некто» не останавливался и наливал.

И вроде бы ничего страшного в том нет. Пьют, как и пишут наши авторы, почти исключительно за свой счёт. Государство на них давно уже не тратится. А меценатов на Руси всегда было меньше, чем писателей. Да и денежных читателей (и неденжных тоже!) у этих бедолаг отродясь не водилось.

Но опубликованная биография – это текст, а с ним всегда всё не так просто и безобидно. Он безжалостно «рентгенит» автора. И порой такое высвечивает! Поделюсь свежим впечатлением. Буквально на днях вычитала у вполне серьёзного автора, в её (как уже понятно, дамы) опубликованной автобиографии такие важные новости: в каком классе какая учительница похвалила её за удачно написанное школьное сочинение. В каком году, в каком номере была опубликована в районной газетке её первая, «на случай» статья и кто-то сказал по этому поводу. И так несколько десятков страниц. Всё строго задокументировано.

Из этой протокольной автобиографии (полагаю, неожиданно для её автора) вдруг возник по-настоящему жалкий образ неуверенной в себе, обиженной на весь белый свет женщины, желающей своей биографией компенсировать «недополучение». Почти буквальная иллюстрация к пассажиру Достоевского: «Ограниченному «обыкновенному» человеку нет, например, ничего легче, как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких колебаний». Такая наглость наивности.

Читаешь и понимаешь: оригинал. Уникум. Встречаются они не часто и не везде. Как заметила эксцентричная генеральша Епанчина: «Оригиналы мы... под стеклом надо нас всех показывать, меня первую, по десяти копеек за вход». Так и есть!

Готовьте свои десять копеек, господа! Сейчас мы познакомимся с автобиографией такого оригинала.

«БИОГРАФИЯ» ПОЭТА

В книгу, о которой веду речь, вошли первая и третья части того, что Сергей Потехин в свойственной ему шутливой манере назвал «автобиографи-

ей». Вторая часть, видимо, куда-то подевалась. Невелика потеря, рассудил автор, компенсируя утраченное шутками-прибаутками о службе в стройбате; о своей, так сказать, армейской живописи, не нашедшей понимания у начальства; рухнувшей, не без помощи рядового Потехина, сортирной крыше, протолкнувшей в просторное «очко» задумчиво сидевшего на нём командира.

В рассказе о своей недолгой службе автор, несмотря на реальные злоключения, вполне литературен. Видимо, решил: дело прошлое, унижительное, вполне подойдёт «Игра в Швейка», с импровизацией на тему книжных перипетий этого простодушного героя: «Когда раздавали обмундирование, мне досталось всё абсолютно не по росту и размеру, огородное пугало выглядит куда грациознее и элегантнее. Все однополчане помирали со смеху, видя такого чудика. Пришлось подыгрывать, чтоб не обижали и не обижались (с дурака какой спрос?). В итоге в сопровождении врача санчасти был отправлен в Ижевскую психбольницу, где благополучно дождался досрочного «дембеля».

А мы и рады. Уцелел в лихом стройбате пиит, и слава Богу! Гашек бы тоже порадовался.

В третьей части автобиографии Потехин составителем книги был поставлен перед необходимостью ответить на нештучный вопрос: как он вошёл в Поэзию? «А никак! – с ходу отбрасывает поэт. – Поэзия не партия, в которую можно войти и выйти, вступить в другую, ощущая на башмаках лишь запах вещества, в которое вступил».

И это понятно. Одно дело – смеяться над своими личными передрыгами, а совсем другое – говорить о поэзии. Далее перо Потехина сбивается с шуточной колеи и абсолютно серьёзнеет. Сразу ясно: тут – главное. Здесь его ориентиры и смысл. «Кому повезёт, в того Поэзия входит сама, исподволь, с ароматом цветов, шелестом листвы, сиянием снегов, трепетным сердцебиением любимой женщины, берёт в свой блаженный плен, дарит океан неведомых доселе откровений».

И точка отсчёта тут – заоблачная: «наше солнышко» Александр Сергеевич Пушкин.

И кто же, скажите, выдержит такое соседство, не излечившись от гордыни! Особенно когда гордыня – это и вообще *не ego*. Хотя кто этих пересмешников разберёт? Что его, а что – нет? Вот и в своей *биографии* Потехин лишь чуть приоткрыл дверь и неохотно впустил нас в свою прихожую. А когда выпроводил, от души позабавился над простофилями:

*Не заметили,
Пни копчёные,
Что орешки сплошь
Золочёные?
А ядро у них –
Чисто золото,
Не раскушено,
Не расколото.*

...Да уж, разные бывают люди и сотворённые ими жизнеописания! Мне, конечно, ближе и интереснее потехинский вариант, ведь смеяться над собой могут только сильные и умные. Только им по разуму понять: нагишаться перед людьми срамно, да и некрасиво, в конце концов! Кому нужны истерики возрастного затворника! Не стенать не плакаться, а затолкать все свои нештучные проблемы под истрепавшийся шутовской колпак. Из него, если

будет время и настроение, можно скроить что-нибудь путное, «дурацкие стишки», например. А можно и недурацкие. Как пойдёт! Если вирши приличные, если будут они кому-то надобны – не пропадут и в мусорном ведре. А коль блажь неудачная, то и жалеть не о чем.

ДИВЕРСАНТ КОСМИЧЕСКИЙ

Оттого что я, вслед за многими, назову Сергея Потехина чудачком, затворником и отшельником – сведений о нём это не добавит. Уже давно не новость. Информационный бум докатился и до галичской глубинки. Теперь Потехин в Костромщине – местная знаменитость. Бренд, как говорится. И как-то не слишком бросилось в глаза, что словосочетание «знаменитый отшельник» – чистейший оксюморон, нелепица, сапоги всмятку. Впрочем, в потехинском духе. У него всегда так: соединение несоединимого.

Можно, конечно, прочитать автобиографию Потехина и простодушно поверить ей. Можно посмотреть телевизионную программу, ему посвящённую, и решить, что познакомился с поэтом. Можно потолковать со знающими его, поэта, людьми и услышать их мнение. Но если вы хотите узнать поэта без посредников – способ один: читать его стихи. Как говаривал Маяковский: «Я поэт. И этим интересен».

Итак, мы уже поняли: прикинуться чудачком – привычный потехинский кульбит, выручавший его во многих ситуациях. Он давно уже привык не изъясняться по поводу своей персоны, а обращать всё в смех, в *потеху*. И, не дожидаясь такой предсказуемой реакции на себя, непредсказуемого, он первый смеётся над своими житейскими и прочими нескладухами, которых у него, в его вольной (одинокой, беззащитной, нищей) жизни – пруд пруди! Собственно, из них эта жизнь и состоит:

*Вы напрасно за мной ходили:
Я с нуждой – не разлить водой.
У меня штаны худые,
И карман у меня пустой.*

*У меня голова дырява,
Даже имя своё забыл.
На окошке цветок деряба,
За окошком – бурьян да пыль.*

*Всё меняется в этом мире,
Не меняюсь лишь я ничуть.
Дохнут мухи в моей квартире,
Не найдя ничего куснуть.*

*Сам с собой не найду я сладу,
Не могу по-другому жить.
Мне хотя б на штаны заплату,
Мне хотя бы карман зашить...*

Вы думаете это замороченные гиперболы, литоты, эвфемизмы? Ничего подобного. В стихе документальная правда, не вся, конечно, не самая страшная. А чего народ-то пугать? Уж лучше смешить! Так считает он, Сергей Потехин.

*Ни к чему поэтам,
Нищим альтруистам,
Щеголять пред «светом»
В платье серебристом.*

*Лучше быть бродягой,
Рыжим до отрыжки,
И лечить бодягой
Синяки да шишки.*

*Не рычать сердито
Перед мирным станом,
Знаться с Афродитой,
Бахусом и Паном.*

*Не бояться чёрта,
Воевать с судьбою.
Оставаясь твёрдо
Лишь самим собою.*

А если вдуматься, отсмеявшись, то ему, живущему на пустынном юру, на семи ветрах, не защищённому от судьбы ничем: ни домом-крепостью, ни деньгами, ни запасным аэродромом, – остаётся надеяться только на себя: на своё здоровье, выносливость, лёгкий характер и железную волю к жизни. Да ещё – на удачу. Надеюсь, что Бог по-прежнему любит чудаков, детей и пьяниц – одним словом, поэтов, отличающихся от «нормальных» людей тем, что живут они не по расчёту, а по наитию:

*Обрушиться грозится потолок.
Вздыхает крыша, требуя соломы.
Прекрасно видно запад и восток
Через её глазастые проёмы.*

*Бормочут люди: «Чокнулся чудаки!»
И докторша с пристрастием допросила.
Влечёт меня частенько на чердак
Какая-то неведомая сила.*

*Худая крыша, право, не беда.
Труба черна, как чёртовы чернила.
В одной прорехе вспыхнула звезда,
В другой зафница небо озафила.*

*До самых окон висится сумёт.
Трясёт хибару тяжкая простуда.
Любой прохожий сразу же поймёт,
Что в ней живёт гороховое чудо.*

*Заботиться о кровле недосуг:
Хозяин громко песни распевает.
Стоит избёнка окнами на юг,
И солнышко её не забывает...*

При всей своей открытости Потехин совсем не прост, образность его стиха может быть изысканной и утончённой:

*Зачерпну из бадейки воды,
Тупоносые сброшу ботинки.
От окошка до ближней звезды
По хрустальной скользну паутинке.*

*Положу тишину на зубок,
Оторву лепесток у потёмок.
Нераспутанных мыслей клубок
До утра прокатает котёнок.*

*На рассвете растает звезда,
Брызнет утро берёзовым соком,
Заиграет в бадейке вода,
А ботиночки скрипнут с упрёком.*

Ох, и гордый народ, эти чудачки, с усмешечкой несущие свой крест как орясину али кочергу, которыми отбиваются от всех посягающих на их достоинство. Не любят они, чтобы их жалели. Потехину это, правда, не надо, потому что другая жизнь ему просто не подходит. Он про себя это точно знает:

*Но я не винтик и не гвоздь,
Пусть выгляжу комически.
Я – на земле неожиданный гость.
Я – диверсант космический.*

Сотворённая им *для себя* и *из себя* жизнь не менее диковинна, чем и его стихи. Собственно, она эти стихи и рождает. Этот проstack понимает: не будь у него ТАКОЙ жизни – не было бы и ТАКИХ стихов. А велика или мала плата – рассудят потомки.

*Кто из нас не терял головы,
Ослеплённый таинственным светом?
Но попробуй тот свет улови,
Даже если родился поэтом.*

*Воссиял, закружил и померк,
Воротились постылые будни.
Замедляется времени бег,
Продолжаются козни и плутни.*

*Наказаньем становится сон
Для души, воспалённой и ждущей.
Не забудешь, как был потрясён
Дивной музыкой, с неба идущей.*

*Вдруг проснёшься в холодном поту,
Ощувив нестерпимость желанья
Бросить всё и ступить за черту,
В даль, откуда исходит сиянье.*

«МОЛЮСЬ КОЛДОБИНАМ И ПНЯМ...»

Не сомневаюсь, что уж кому-кому, а Потехину точно есть что рассказать. Например, как он, давно уже предпочтя уединение, одолевает его? Ведь, как всякая стихия, одиночество, с его мощным разливом времени, коварным числом вариантов и возможностей, а также непредвиденных обстоятельств и опасных ситуаций, под силу только крепким орешкам.

И как он управляется со своими страхами? Есть ли они у него вообще? Ведь мороз продирает по коже, как представишь его в тесном соседстве с клубком копошащихся крыс в полутёмном холодном углу его одинокого дома.

А как быть с лихими гостями, которые могут пожаловать откуда и когда угодно? Что делать с лесным зверьём, незвано оказавшимся на твоём пороге? Перечислять можно долго.

Чего-чего, а страхов у современного человека – пруд пруди! Страх заболеть и не выздороветь, страх потерять разум и не найти его, страх покалечиться и остаться инвалидом. А есть ещё и метафизический страх пустоты, которую ежеминутно надо чем-то заполнять.

Мы поступаем привычно, просто и бессмысленно: убиваем время, беря себе в сообщники ненавистный телевизор, безразмерный Интернет и назойливый телефон.

Но Потехин, похоже, с метафизикой раз и навсегда разобрался: он выбрал главное – то, что мы, жестокие и неумные, обычно умертвляем: главное и невозполнимое сокровище человека – ВРЕМЯ ЕГО ЖИЗНИ. Посмотрите, как вдумчиво он живёт:

*На морозе скалы стыннут,
Рядом с ними не согреться.
Улыбаясь, душу вынуть –
Вот единственное средство.
В их холодное сверканье
Впитаться добрыми глазами –
И тогда заплачут камни
Настоящими слезами.*

У Потехина время потому и «терпит», что, как говаривал князь Мышкин, время «совершенно его». Кстати, не только в этом совпали реальный человек и любимый герой Достоевского. Они совпали в главном: оба понимают жизнь не как открытие, а как бесконечное открывание, как процесс, который и есть жизнь настоящая.

У Сергея Потехина этот процесс – вдумчивый, неспешный, со вкусом. Он именно проживает свою жизнь, а не обнаруживает вдруг с ужасом: неделя, весна, молодость пролетела! Всё как в топку! Без смысла и остатка.

*Стало грустно. Сел, притих
И не сделаю ни шагу:
Нету вымыслов таких,
Чтоб слеза прожгла бумагу.*

*А живым словом не мани,
Будь оно свежо и ало –
Мне фантазии мои
Только сердце нашептало.*

*Я без компаса найду
В поднебесной круговерти
Путеводную звезду,
Уводящую в бессмертье.*

*И когда наступит час
Неземного вдохновенья,
Я заплачу в первый раз
От её прикосновенья.*

И кто виноват, что у нас кишка тонка? Что восторгу перед дарами жизни мы предпочитаем вечную тревогу и суету? Что весёлости предпочитаем злость? Вопросы можно задавать до бесконечности. Ответ один: не забывайте – это наш выбор!

Но есть и другой, иной путь. Например, тот, о котором я сейчас толкую: путь отшельника и поэта Сергея Потехина.

Он умеет тратить время по своему усмотрению, то есть только на то, что считает самым необходимым – на поддержание тела и духа. Утепляет дом, выращивает овощи, ловит рыбу, собирает грибы. Если есть из чего – готовит еду, коли повезёт – балуется винцом, а приедут редкие гости – принимает их не церемонясь. Изредка вспоминает: запустил себя. И принимается, как может, приводить себя в порядок. Потом бросает это пустое занятие: столько ещё дел ждёт! А ведь хочется ещё и душевную порадовать – слепить новых глиняных чудилок, записать стих, который уже давно торкается в нём, а он всё бумажки чистой не съест!

Да, в мире у Потехина свой уголок, своя норка, малопонятная и малоприспособная для большинства из нас. И обречения тоже свои.

*Мрачна моя опочивальня,
И мрачен свет в окне ночном.
Но изумительно хрустальна
Печаль о памятном былом.
Ещё не справлены поминки
По тем несбыточным мечтам,
Где в каждой капельке-росинке
Построен мною Божий храм,
Где дивный сад, в котором птицы
Поют зарю в жару и стынь,
А родники живой водицы
Поют солодку и полынь.
Пускай душа лакала зелье,
Непотребимое скотом,
Она справляет новоселье
В парящем замке золотом.
Ещё трагичней и нелепей
Бывали беды от разрух.
Мечта жива, покуда в склепе
Любви не выветрился дух...*

Вот вы, дорогие друзья, сколько бы смогли такой жизнью прожить? Если честно? То-то... Не всем дано! А Потехин живёт четверть века и, кажется,

счастлив. Как и очень похожий на него, уже упоминавшийся герой Достоевского: «О, что такое моё горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребёнка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она растёт, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...»

У Потехина в его стихах – о том же, только по-своему, с густой примесью мерянского язычества:

*Мне хорошо в моей глуши,
Далёк исход её плачевный.
Для очищения души
Вхожу я в лес как в храм священный.*

*Молюсь колдобинам и пням,
Иных богов не признавая,
Деревья смотрят на меня,
И в каждом есть душа живая.*

<...>

*Природа – ласковая мать,
Грешно над нею нам смеяться.
Мы научились покорять,
Но разучились поклоняться.*

В принятой им для себя системе ценностей нет страха не состояться, недополучить наград на ярмарке тщеславия. Ему это от души по фигу. Но у него, похоже, нет и самых элементарных страхов: он не боится голодать и холодать, не боится болеть и стареть, остаться без средств к существованию, не боится одичать, в конце концов. А если и боится, то как-то умеет скрывать это. Тоже не всем дано. А ему-то как это удаётся? Читайте его стихи, друзья, в них он честен и с собой и с нами, читателями. Там всё отыщете.

Существует такой закон искусства: если на сцене объявилось ружьё, оно в спектакле непременно выстрелит. У нас таким многозначительным «ружьём» мелькнул на обложке профиль Данте. И вот, пожалуйста, его секрет крепости духа, под которым Потехин подписался бы с лёгким сердцем. «*Поверь – когда в нас подлых мыслей нет, / Нам ничего не следует бояться... / Зло ближнему – вот где источник бед, / Оно и сбросит в пропасть, может статься*», – так поддержал гениальный итальянец своего русского поэтического собрата.

К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА...

Творчеством своим Сергей Потехин, как и все современные русские писатели (за очень малым исключением, которое можно не принимать в расчёт), не кормится. Зато окормляет им всех желающих, что тоже случается нечасто.

А они, эти «желающие», его преданные читатели, похоже, не переводятся. Более того, число их растёт! Люди сами отыскивают поэта и протаптывают к нему тропинку. Приносят еду, краски и бумагу. Издают его книги и пишут о нём статьи. Это, пожалуй, и есть главное чудо, его секрет одоления холода, голода и одиночества. Его уникальная формула счастья. Впрочем, как всегда, формулирует он её буднично, иронично и беспашфосно:

*Жил, на целый свет окрысаясь.
Все едят, а я – говей?..
Вдруг прислали десять тысяч.
Пискнул в брюхе соловей.*

*Подлетели кверху гирьки
На тарелочке с нуждой.
Накуплю лапши да кильки,
Побегу как молодой.*

*Отскребли на сердце кошки,
Не успел я духом масть.
Разноцветные сапожки
На одну сменяю масть.*

*Всех врагов оставил с носом,
Важен, как архиерей.
Буду пользоваться спросом,
Словно просо у курей.*

*Навострил Пегас подкову,
Бьёт копытом: и-го-го!
Ой, спасибо Базанкову
И компании его!*

Правильность интуитивно выбранного Потехиным пути и способа его общения с миром пришлась бы по душе чтимому мною классику, которого в статье о Потехине я уже несколько раз вспоминала: «Бросая ваше семя, бросая вашу «милостыню», ваше доброе дело в какой бы то ни было форме, вы отдаёте часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно приобщаетесь один к другому; ещё несколько внимания, и вы вознаграждаетесь уже знанием, самыми неожиданными открытиями» (Ф. М. Достоевский. Роман «Идиот»). Например, такими:

*Осень спешила, шумел листопад,
Падала с клёнов незвонкая бронза,
Я по оранжевым листьям ступал,
Как по осколочкам солнца.
Кто меня выманил, кто пригласил
В жгучий бурян красоты и печали?
Каждый листок от тоски голосил,
Бурные ветки молчали.
Может, впервые подумалось мне:
«Время свой бег не замедлит.
Мир без меня обойдётся вполне.
Мне-то его кто заменит?»*

Порой Потехин «проговаривается» и называет своё скромное жилище неожиданно высоко: не логовом, не берлогой, даже не домом – *обителью*, обозначая уровень происходящего в нём.

*Спокойна тихая обитель.
Цветёт крапива у плетня.
Любите, граждане, любите
Плетьень, крапиву и меня.
Плетьень – за что? За то, что скромен:
Он о себе не много мнит,
Из прутьев он, а не из брёвен,
И высотой не знаменит.
Крапива смотрится красиво
И обжигает – как огнём.
Но виновата ли крапива,
Что мы и рвём её, и мнём...
Любить меня? Кому охота?
Как ни крути – невзрачен вид.
Я – человек! И это что-то
Кому-нибудь да говорит.*

Стихи Потехина – это настоящий словесный заповедник. Они соприродны месту и времени, в которых рождаются. Потехин в них чист и прозрачен, как водица в его заповедной реке. В них нет острых камней и смысловых коряг, занырнув под которые, читатель ненароком рискует напороться и пораниться, а то и вовсе – не выбраться больше на белый свет. Смысл в них, как и вода в его вроде бы простецкой речушке, неожиданно глубок и полнится жизнью. Реальной и сочинённой.

*Ногам не даю покоя.
Хоромы мне стали тесными.
Брожу над ночной рекою.
Русалок прельщаю песнями.
У лешего храп могучий.
Лохматому всё до лампочки.
Я ёлкам, сбежавшим с кручи,
Приветливо глажу лапочки.
Под вербой, у кромки берега,
Где ветер жуёт сенники,
Мне встретился зайчик беленький
С письмом от самой Синильги.
Пойду поскорей, порадую
Красотку зеленоглазую.
Похвастаюсь ей нарядами,
По сосенкам с ней полазаю.
Сокровищам знаю цену я.
Недёшево стану спрашивать,
Брусники лукошко целое
Нарву ради счастья нашего.*

Чудо как легко и образно! Будто не сочинил, а восхищённо выдохнул поэт. Вот только откуда взялась эта загадочная Синильга? Надо залезать

в словарь, чтоб уразуметь: возникла она, конечно, неслучайно. Синильга оказалась сказочной птицей, сестрой неизвестного мне Алконоста и знакомых по сказкам Гамаюна и Финиста. А ещё она вечная спутница и покровительница тех, кто всегда в пути. Муза странствий, имя которой в переводе с тунгусского означает «снег», то есть что-то очень нежное, чистое и красивое.

Теперь понятно. Неясно только, откуда это всё ведаёт наш лесной отшельник, по его словам, не слишком обременённый образованием? Или опять разыграл? Ох, и не прост этот Серёжа Потехин! Похоже, в своей глуши он получает не только талант и мудрость, но и отличное образование.

*Кто из нас не терял головы,
Ослеплённый таинственным светом?
Но попробуй тот свет улови,
Даже если родился поэтом.*

*Воссиял, закружил и померк,
Воротились постылые будни.
Замедляется времени бег,
Продолжаются козни и плутни.*

*Наказаньем становится сон
Для души, воспалённой и ждущей.
Не забудешь, как был потрясён
Дивной музыкой, с неба идущей.*

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Ох, *не весь* это Потехин! Во всех смыслах. У меня он получился *не весь*, потому что чересчур смахивает на «облако в штанах» – такой весь из себя правильный и причёсанный.

Не весь ещё и потому, что много чего осталось за пределами статьи, о чём хотелось бы написать. О его лихих и очень смешных «Стишках дурацких», например.

Не весь Потехин ещё и оттого, что не всё нашли, не всё отобрали, не всё вообще сохранилось. Думаю, что и после выхода этого объёмного труда будут появляться неизвестные потехинские рукописи и публикации.

Да и сам Потехин, кажется, не собирается после выхода этой эпической публикации имени себя сидеть без дела – наоборот, намерен и стихи сочинять, и клубнику выращивать. Вот почему при всём уважении к создателям книги и понимании, какая большая работа проделана и сколь немало спонсорских денег потрачено, повторяю: *не весь* это Потехин!

А главное – *не весь* он потому, что исчерпать жизнь и творчество талантливого человека просто невозможно, как невозможно до конца понять его. Много ещё тайн хранит этот «диверсант космический», поэт Сергей Потехин, этот, вроде бы, простой человек.



Людмила
ЛИПАТОВА

«ЧЕЛОВЕК, ПРИБАВЛЯЮЩИЙ СВЕТА...»

О поэзии Геннадия Касмынина

Как читатель я ищу в стихах душевной опоры. Дайте мне слова, помогающие жить, мне это важнее, чем искусство ради искусства, я хочу быть уверена, что мой обыденный труд – неустанная работа на благо ближних – не напрасен. А это всегда труднее, чем распрощаться с бранным существованием. Особенно ценны произведения, поднимающие над рутинной, окрыляющие, такие, как правило, удаётся создать лишь сильным духом людям, им ведь тоже было несладко, в каждую эпоху – свои беды, но поэт – мыслящий человек – анализирует, обозначает проблему, ищет пути её решения, помогая тем самым своим современникам.

Но много ли может изменить человек в этом несовершенном мире своими стихами, если по статистике любителей поэзии на земле всего-то пять процентов? Хочется ответить всем поэтам, терзающимся этим вопросом, строками моего земляка, родившегося в 1948 году в селе Казачка, Баландинского (ныне Калининского) района, поэта Геннадия Касмынина: *«Успокойся, не думай про это, / Помолись и унынье развей, / Человек, прибавляющий света / Керосиновой лампой своей».*

Свет души Геннадия Григорьевича проник в мою жизнь несколько лет назад, когда на первые Касмынинские чтения, которые организовывала Татищевская районная библиотека (именно в районной газете Татищева «Сельская жизнь» в далёком 1966 году были напечатаны первые стихи школьника Гены Касмынина), я поехала из Калининска в Татищево ради того, чтобы получить на два дня для чтения маленькую его книгу «Грибница» (М, «Молодая гвардия», 1979). Поехала, прочитав одно только стихотворение этого автора с предельно простыми образами, но оно так же, как «Тихая моя родина» Николая Рубцова или «Летела гагара» Николая Тряпкина, невольно сли-

-
- Людмила Викторовна Липатова живёт и работает в Саратове. Окончила в 1992 году Балашовский педагогический институт, в течение 30 лет работала в школе учителем начальных классов. Автор поэтических сборников «Гризайли» (Саратов, 2014), «Краски рассвета» (Саратов, 2017), «Открывая тишину» (Саратов, 2020).

лось с моей сущностью каждым живущим в нём словом и теперь неотделимо от меня:

*Домик жил и донник цвёл,
Мальвы шёлком шелестели...
Топором скоблили пол,
Тыкву пареную ели.*

*Шли куда-то облака,
Шли быки с такой же силой,
И кисет для табака
Вышит был рукою милой.*

*День прошёл. Другой прошёл.
Век прошёл... А птицы пели,
Домик жил и донник цвёл,
Мальвы шёлком шелестели.*

*Не менялась жизнь никак.
Уходили в землю внуки.
То же сено на быках.
И кисет. И те же руки.*

*Как же нужно было так
Не любить, не знать всё это,
Если нынче на болтах
Еле держится планета.*

*Громыкает ржавый шар,
Не цветёт на свалке донник,
Знать, кому-то помешал
Белый-белый в мальвах домик...*

Поэт, окончивший Литературный институт им. А. М. Горького, умело рисует жизнеутверждающую, притягательную своей добротой картину тихого, мирного счастья нашей Родины (образ домика – это её узнаваемый с детства образ), в которой всё просто и понятно, даже вроде бы настораживающий факт: «*Не менялась жизнь никак. / Уходили в землю внуки...*» – не противоречит вечным устоям. И вдруг эта счастливая жизнь оказывается такой непрочной из-за того, что кто-то этого не знал и не ценил, и вот уже «*нынче на болтах еле держится планета*». Читатель чувствует, как тревога наполняет его сердце, литосфера родной земли сдвинулась.

Е. Евтушенко писал: «*Поэт в России – больше, чем поэт. / В ней суждено поэтами рождаться / лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, / кому уютно нет, покоя нет*».

Именно этот неспокойный дух гражданства и двигал пером поэта Геннадия Касмынина: люди, проснитесь, «*белый-белый в мальвах домик*» рушится, это совершают те, кто не любит нашу землю, но вы-то любите, проснитесь!

Поэт тяжело переживал тревожные перемены, происходившие в нашей стране в девяностые годы, хотя понимал, что перемены необходимы для будущего: «*Всё-таки нужно прощаться с пожитками, / Больно-то нам, ну а молоды – вы...*»

Осознавая необходимость обновления, он сам не желал быть преградой, вроде того ржавого гвоздя, о котором писал: *«Новый гвоздь из доски легко / Вынимается... Ну а ржавый / Врос в сосновое молоко, / Сросся с деревом и державой. / Клеици времени, пьяный гость / Лезут в душу, ломают стены – / Упирается старый гвоздь, / Ненавидящий перемены».*

Нет, Геннадий Касмынин был за перемены, но за те перемены, что ведут к лучшему, а не за те, что как *«пьяный гость лезут в душу, ломают стены».* Поэтому он не мог молчать о действиях власть имущих, что тогда, в девяностые годы прошлого века, явно вели к развалу страны и гибели её народа.

Николай Алексеевич Некрасов завещал всем, идущим следом за великими, позиционирующими себя поэтами: *«Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан. / А что такое гражданин? / Отечества достойный сын».* Геннадий Касмынин был достойным, ревностным сыном своего Отечества, так как видел подступающую беду и открыто говорил о ней в своих стихах, предупреждая всех: *«Не верь, провинция, столице, / Сегодня правда вне Кремля».* С этой строкой он вышел к людям земли, к провинции:

*И потому не прибедряйся,
Что силы нет и страшен враг, –
Провинция, объединяйся!
И начинай державный шаг.*

(«Столичный трёп, и звуки вальса...»)

Это был призыв к спасению силой народной, как в Смутные времена призывали к спасению России купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Призыв к объединению, как у Булата Окуджавы: *«Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. <...> Среди совсем чужих пиров и слишком ненадёжных истин...»*

Но поэт не побуждает выходить на Сенатскую площадь или идти на Москву, он призывает продолжать свой род красивых, сильных, умелых русских людей, налаживать потихоньку жизнь на местах: *«Ну, с Богом! Хотя бы и шагом / Из ямы, из грязи, со дна».* Касмынин принимает завет Николая Рубцова: *«Россия, Русь! Храни себя, храни!»* Геннадий Григорьевич, в отличие от Бориса Чичибабина (*«Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю. / Молиться молюсь, а верить не верю»*), в Родину верит.

В нынешние времена на площадках различных сайтов мнимые патриоты, не желающие тратить свои молодые силы на благо ближних, взявшие курс лишь на развлечения, ругают «ватниками» и «терпилоидами» рабочий люд, создающий для них же материальные блага. Ударить упавшего – не делает чести гражданину и поэту, а вот помочь подняться – тут нужны сила и мужество. Обогреть, расчистить дорогу к дальнейшей жизни может только настоящий человек; только любящий сын скажет так по-доброму о своём народе:

*Мой народ рождён от радуг,
От байкальской чистоты...
Поднимайся, любый! Радуй!
И не верь, что низок ты.*

(«Памяти Гагарина»)

Или вот так:

*Красивые люди прошли... Неужели?
Чему удивляться, прошли и прошли.
И жили беднее, не досыта ели
И всё же лазоревым цветом цвели.*

(«Красивые люди»)

Рассмотреть красоту рядового человека может лишь тот, чья душа тоже цветёт лазоревым цветом. Геннадий Касмынин пророчит ещё тысячи лет жизни нашей стране, хотя и непростой жизни, но славной. В стихотворении «Русский народ» он отмечает особенную черту русского человека: умение обыденно, по-крестьянски совершать трудовые и боевые подвиги – как свякую обязанность, не боясь смерти, без лишней суеты.

*Жуёт и бороду лохматит
И собирает крошки в рот –
Ещё живёт...*

*– А может, хватит?
Ведь тыщи лет тебе, народ.
Поди, устал, пора на печку
Иль прямиком в уютный гроб.
Венок оплатим, купим свечку,
Попов заставим, пели чтоб.
Не сомневайся, честь по чести
Зароем в землю – прикажи!*

*Живёт. И ластится к невесте.
И подновляет этажи.
Не собирается в могилу,
Ещё не старфый он казак.
И копит, копит, копит силу
И молодеет на глазах.*

*Ты погляди, какие лица
Сияют славой, просто шик!
На тыщи лет, как говорится,
Ещё нас хватит, гробовщик...*

Эти строки можно нести по жизни и опираться на них, будто на крепкий дубовый посох в трудном пути, они изгоняют тоску, что проникает порой в душу, как в стихотворении «Исход» Николая Зиновьева:

*От мира – прогнившего склена,
От злобы, насилья и лжи
Россия уходит на небо,
Попробуй её удержи.*

Стихи Геннадия Григорьевича помогают удерживать жизнь здесь, на этой земле. Поэт чувствует своей, такой же мужицкой душой душу народа, которому нужно простое счастье. Не требует русский народ от власти особых милостей – только не мешайте жить, как тысячи лет жили деды и прадеды, растить потомство и сады, пахать землю да пользоваться плодами своих тру-

дов, уповая лишь на помощь Божью. Геннадий Касмынин, понимая всю беспросветность бытия, усталость людей, *«и в буреломе – дни и дни»*, всё же уговаривает их ещё пожить, трепетно выхаживая и сберегая судьбы своих потомков, а похоронить-то всегда успеем, не переживайте, мол, с этим торопиться не надо, то есть договаривается о главном, подбадривая: *«ещё не старый казак»*, ещё поживём, повоюем.

Геннадий Григорьевич, работая заведующим отделом поэзии журнала «Наш современник», не мог наслаждаться покоем, когда рушилось всё лучшее, закрывались и вывозились по частям заводы и фабрики, школы и больницы, пустели сёла и города. В сборнике «Гнездо перепёлки» (М., «Наш современник», 1996) он вскрывает причины происходящего:

*То на Западе, то на Востоке
Над Россией солнце встаёт –
Это разных наречий пророки
На славянский слетаются мёд.*

*Наедятся, напьются до рвоты
И с похмелья над ухом жужжат:
Ваше солнце встаёт, обормоты,
С нашей помощью там, где закат.*

Жёстко, по-крестьянски резко, но правдиво поэт характеризует врагов внешних, но есть ещё и внутренние – это те что: *«Словцом отгородились от народа, / Элита! – не стыдись, произнесли»*. И оказались мы между двух, а может, и сотен огней. Что же делать? Ныть и ругать всех и вся? Бежать на запад, где, как говорят, легче живётся? Но как русский человек, любящий свою землю, поэт Касмынин не мог дать такой совет. А насколько сильно умел любить этот человек, мы понимаем, прочтя: *«К тебе прильну, к земле прильну – / И не разжать уже – объятья...»*

Человек, объятья которого с родной землёй не разжать, не поедет искать благополучия на чужой стороне – это противоречит его цельной натуре. Он не успокоится, удовлетворив личные материальные потребности – он болеет душой за счастье всего народа, всей страны. Геннадий Григорьевич призывает: *«Друзья мои! Сольём по капле в чашу / Из жил своих...»*, он вливает дух героизма в своих соотечественников, вдохновляя на извечную борьбу со всемирным злом: *«Ненасстья Родины, вы ищите героя – / Он растворён, он в тысячах – один, / Мы выжили все, стоим на поле боя»*. Значит, не ищите и не ждите героя – каждый из вас герой, каждый по мере сил способен принести спасение в наш общий дом.

Но русский народ терпелив, он не начинает битву, всё ждёт, готовый к бою. История знает случаи, когда даже таким выжиданием творились победы, к примеру, знаменитое Стояние на реке Угре. Но здесь Геннадий Григорьевич предупреждает, что враги могут не повернуть восвояси, а обойти и занять нашу землю без боя. *«И сила перезрела. Враги не стали биться. Обошли»*. Поэтому он просит вспомнить традиции и учить молодое поколение, как в русских народных сказках добрый молодец побеждает Змея Горыныча где смекалкой, где мечом: *«Пусть вырастут клыки для драки / И ноги для погони... Пусть!»* – это чтобы враги опасались безнаказанно посягать на землю русскую.

Поэт говорит о том, что гораздо важнее научить потомков любить эту землю: *«И сверх добычливой повадки / Учи его любить своё: / Бобров-строителей при хатке, / Осинники, поля, распадки, / Тайгу как родину... Её»*. Не ругать! Учи любить, ведь обычно человек бережёт то, что любит.

Касмынин напоминает, что главные черты нашего народа – это гостеприимство и чувство дружбы: *«Мы друзей не забываем, / В гости ждём, даём займы, / Терпим, долго прозреваем, / Прозреваем долго мы...»* Настолько доверчив и дружелюбен русский народ, что не желает видеть даже очевидную хитрость и коварство врагов, а всё по доброте душевной надеется, что авось человек не специально, авось ошибка какая вышла – не хочет думать плохо о других, по себе же судит!

А как понимающе он говорил о самых дорогих для сердца каждого пожилого человека – о внуках, которым старики готовы помогать со своей скудной пенсии, лишь бы те не знали нужды: *«На глине, супеси, подзолах / Не быстро вырос паренёк: / Среди подсолнухов – подсолнух, / Для деда с бабкой – огонёк»*. Огонёк, освещающий жизнь.

И, разделяя всю боль, все тяготы нашего народа, он не скорбит обречённо, как Николай Зиновьев: *«И человек сказал: «Я – русский», / И Бог заплакал вместе с ним»*. Нет, Геннадий Касмынин (по свидетельствам современников, он был богатырём) пытается вдохнуть свою силу в ослабевший и лишь временно растерявшийся народ, для того чтобы восстанавливать и продолжать добрую жизнь в «белом-белом в мальвах домике», не мстя обидчикам:

*Над поминальною закуской
Не произносим слова «Месть!»
Таким он был, обычным русским...
Не плачьте, русские,
Мы – есть!*

(«Подсолнух»)

Мы – есть сейчас, а значит, мы будем и впредь! Будто ещё раз, но по-своему напоминает нам такие важные слова советского писателя и киносценариста Петра Павленко, вложенные в уста Александра Невского: *«Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости... Но если кто с мечом к нам войдёт – от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля»*.

Завершался мятежный, сложный XX век, вместе с ним (в 1997 году) ушёл из жизни Касмынин. Смерть его стала для многих неожиданной. Так, ангельский поэт Атаулла Кармеев, лично знавший Геннадия Касмынина и понимавший его характер, признавался:

*Зигзагами снова косыми
Косою смерть косит народ.
Не думал, что Гена Касмынин
Из жизни до срока уйдёт.
Высокий, красивый, могучий,
Талантливый русский поэт...*

Огромное, беспокойное сердце большого поэта Геннадия Григорьевича Касмынина остановилось, не отсчитав пятидесяти лет земной жизни, но высоту для нас, идущих следом, он обозначил чистыми строками своей смелой поэзии, осветил пути всей силой любящей, горячей души:

*Вглядись в меня, как узел развяжи,
Увидишь отложения грядущего,
Слои веков,
Где правду ото лжи
Отсеивает искренность идущего.*



Игорь
ШВЕДОВ

Куда впадает жизнь

Воронов С.Н. Жизнь без усталости течёт: Стихи.
С-Пб., НППЛ «Родные просторы», 2019

«Жизнь без усталости течёт» – читаю название книги и невольно соглашаюсь с её автором Сергеем Вороновым. Действительно, она, жизнь, никогда не прекращает своего движения и не исчезает, чего, к сожалению, не скажешь о нас – участниках этого непрерывного и непредсказуемого процесса...

И вот уже читатель настраивается на философский лад. Так же естественно, как свои мысли и чувства, укладываются в сознании и в душе поэтические откровения чужого, незнакомого человека – это ли не чудо?!

Удивляет, что тот или иной поэт сумел переосмыслить и рассказать именно твои сокровенные мысли, докопаться до сути, до глубин, до некой тайны бытия, но совершенно по-своему, по-другому, и тем не менее сделать верные, в том числе и для тебя, выводы. И здесь разгорается огонёк чувства душевного родства, общности. Ты уже не одинок в этом подчас суровом мире. Тебе не нужно звонить по телефону, чтобы услышать жизненно важные слова поддержки, нет необходимости личной беседы с другом, чтобы получить добрый, мудрый совет... Достаточно взять в руки книгу – и ты найдёшь собеседника, понимающего тебя лучше, чем ты сам.

Именно таким собеседником стал для меня поэт, переводчик Сергей Николаевич Воронов, с творчеством которого я познакомился совсем недавно, прочитав два его сборника: «...Куда я шагнул наугад» (С-Пб., АПИ, 2013) и «Жизнь без усталости течёт», изданные на родине поэта, в Санкт-Петербурге. Ощущение тихого волшебства только усилилось. И хотя многие стихи «перекочевали» из одной книги в другую, зато, когда я вижу уже знакомое произведение, у меня возникает ощущение, будто от встречи с давнишним приятелем, когда взаимное доверие и теплота отношений совершенно не меняются со временем.

Чем же близок мне поэтический мир Сергея Воронова? Я не стану раскладывать всё по полочкам, но попытаюсь обозначить лишь некоторые сближающие нас моменты. В первую очередь мне импонирует его взгляд на жизнь, на события, на людей и природу, его манера выражать всё это в гармоничной форме. Стихи Воронова не пестрят нарочито-яркими метафорами, что само по себе уже является показателем истинного мастерства и хорошего вкуса, и выстраданные автором откровения лежат перед читателем как факт, как данность. Остаётся только удивляться тому, почему же я не додумался до того или иного открытия, находящегося на самом виду. Взять хотя бы такие строки: «Вот и сегодня, как всегда бывало: / Я знаю много – понимаю мало...»; «...Я речь веду от первого лица, / Знакомый мир стремлюсь увидеть – новым. / Жизнь объяснима мыслью, чувством, словом, / Но, к счастью, каждый раз – не до конца».

Кстати, говоря о мастерстве, должен отметить, что Сергей Николаевич виртуозно использует различные средства выразительности:

*Как стекло, разобьётся эпоха,
Жизнь пройдёт и закончится – и
Нам не хватит последнего вдоха,
Чтобы выплакать слёзы свои.*

В этом катрене сравнение «Как стекло, разобьётся эпоха» – не случайно. Этим поэт выражает мысль о хрупкости бытия под довлеющим знаком фатума, нагнетает чувство тревожного ожидания, страшно-го и непоправимого, глобального по своим масштабам и потому неподвластного людской воле, что в свою очередь порождает целый ряд размышлений и ассоциаций. Вторая строка включает в себя плеоназм «жизнь пройдёт и закончится», такое умышленное применение схожих по значе-

нию, но разнокоренных слов, идущих одно за другим, в данном контексте используется автором для усиления чувства обречённости, которое ещё более резко обозначается цезурой. Эта вынужденная пауза « – и» как всхлип, создаёт особый ритмический поток, подчиняясь которому, следуя за ним, читатель физически ощущает нехватку кислорода. А вся эта словесная конструкция заканчивается гениальным по простоте подачи, конкретным, но всеобъемлюще многомерным выводом-утверждением: «*Нам не хватает последнего вздоха, / Чтобы выплакать слёзы свои*». И тут не поспоришь! Притом здесь нет никакой искусственности, притянутости, строки читаются и воспринимаются естественно и легко.

Сергею Воронову не чужды эксперименты с необычным стихотворным размером, рифмовкой и ритмом в некоторых своих произведениях.

*– Бог услышит, услышит, услышит нас
И сподобит с истинным благом
встретиться.*

*Дивно в храме иконостас
Золотыми ликами светится.
В добрые старые времена
Наши просторы видели,
Как баюкает тишина
Монашеские обители.
Сергий Радонежский перстом
Указал подвижникам путь на Север,
Чтоб молитвами и постом
Каждый*

*свет Православия сеял.
(«В северной глуши»)*

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

*Золотые купола –
Распростёртые крыла!
Всё, что память проспала,
Возвращают купола.*

*Откровенье, а не плаха,
Зов любви, а не укор –
Купола встают из праха
Всем врагам наперекор.*

*Принимайся, брат, за дело,
Чтоб душа, как ни мала,
Поднялась и полетела
Ввысь – что эти купола;*

*Чтоб, от солнца зажигаясь,
Осеня мир вокруг,
Наших дней грядущих завязь
Стала явственнее вдруг!*

Не правда ли, в самом построении этого воздушного стихотворения явно слышится

колокольный перезвон, чувствуется тяжесть «закладного камня» второго катрена (ведь храм только строится!), место для полёта воображения и лучезарной надежды, размах в пространстве и во времени.

Хотя творчество Сергея Николаевича слито с атмосферой Санкт-Петербургской литературной среды и её устоявшимися традициями, он всегда идёт собственными путями к пониманию и выражению себя, своего внутреннего микрокосма и окружающего мира, непременно находя тропинку к сердцу читателя – и он, читатель, знает наверняка, кто стоит по другую сторону воображаемой двери.

Так, перечитывая: «*И долгого сомнения туман / Стоит судьёй над истиной вчерашней*», – снова ловлю себя на мысли о том, что эти строки до боли знакомы, что они словно родились во мне, стали плодом долгих размышлений, переживаний личной трагедии и переосмысления мировоззрения как такового. Поэтому органично воспринимаются мудрые афористичные обобщения, красноречиво показывающие Сергея Воронова как человека неравнодушно мыслящего, умеющего сфокусироваться на главном, однако, не упускающего из художнического видения ни деталей, ни общей картины событий или явлений.

*Своя корысть чужих не видит слёз,
А плутовство не ведаёт восторга.
Какую б весть глашатай ни принёс,
Базар шумит, не прекращая торго.*

Сергей Воронов близок мне как лирик – лирик глубокий, сдержанный в эмоциях, но в своей скупой недосказанности дающий понять больше, чем можно выразить речью:

*И в эту ночь, дарованную мне
Твоим дыханьем и покоем неги,
Я понял вдруг, что бывшие ночлеги –
Мираж судьбы на жизненной стерне.*

*И грустных дум тревожные набег
Опять изводят сердце в тишине.
И я гляжу, как при большой луне
Глубокие в полях мерцают снега.*

*Ты никогда моею не была,
Хотя так много лет была моею.
И я от этой мысли сатанею!*

*А ты уходишь в ночь из-под крыла
Моей любви – и за тобою вслед
Уходит жизнь, и нам спасенья нет.*

Ещё не могу не отметить главную составляющую творчества Воронова – духовность, которой пронизана буквально

вся поэзия Сергея Николаевича; здесь — принципы и убеждения, определение себя как частички социума, понимание и принятие личной ответственности за сопричастность ко всему происходящему вокруг, боль и сопереживание — всё это поэт пропускает через собственную совесть, не отгораживаясь, но поднимаясь над проблемами и глядя на свет Божий с высоты полёта своей души, направляемой Творцом.

*Мир покаянью не обучен
И в прагматической броне
Он хмурит, словно брови, тучи
И не даёт покоя мне.*

*Его красоты и заботы
Берут в полон со всех сторон,
И мёд людских познаний в соты
Своих загадок прячет он.*

*В нём козырная карта бита,
Истончено судеб рядно,
И оседает Атлантида
На вулканическое дно.*

*Когда вовсю бушуют страсти,
Противоречия идей,
Воображенье рвёт на части
Устои, страны и людей.*

*И новый круг за старым кругом
Начнёт история, когда
Управлюсь я с большим испугом
И схлынет мутная вода.*

*Пусть слово, найденное мною,
Струится в радости скупой
Мирской исконною виною,
Мирской исконной правотой.*

Воронов отражает нелёгкий путь мытарств, грехопадения и катарсис, выходя на новый уровень духовности:

*...Душа была надменна и горда —
Теперь она вызывает виновато...*

*Пришла пора оставить города
И отступить в природу без возврата.*

*Глядеть во тьме печально из-под век,
Забыв тоску духовных медитаций,
Как наползает новый хищный век
На мировую ложь цивилизаций.*

На мой взгляд, квинтэссенцией бытийных и духовных исканий, вытекающей из жизненного опыта на долгом и, как можно предположить, не всегда гладком пути поэта, стали строки, где Сергей Николаевич Воронов задаётся одним из непреложных, фундаментальных философских вопросов, и сам же отвечает на него:

*А было и ведро,
И в цвете сады,
И полные ведра
Прозрачной воды.*

*Покой и отрада
Июньских надежд,
И было не надо
Тяжёлых одежд.*

*И всё, что случилось,
Свершилось, струсилось,
Как Божия милость
В душе улеглось.*

*В прощании с летом —
Теперь навсегда —
За осенью следом
Иду в холода.*

*Всё тише и глуше
Последняя речь.
И если не душу —
То что мне беречь?*

Хорошо бы и всем нам иметь такое же чёткое представление о том, куда направить течение своей жизни. Сумеет ли мы в конце концов слиться в единое целое с её неиссякаемым предвечным истоком?



Валентина
ТОРОПОВА

Улыбки судьбы и гримасы оракулов

Манаев А.В. Лики судьбы. Ярославль, Канцлер. 2021. — 478 с.

Начало лета. Голодно. Мальчишка идёт по огороду в надежде чем-нибудь пожиться. Огурцы только-только стеснительно заулыбались скромными желтоватыми цветками. Помидоры будто вовсе о потомстве не думают.

И вдруг чудо: на середину грядки с соседского огорода выползла плеть, греющаяся на солнышке с запелёнатым в шершавую листву детёнышем – пупырчатым дымчато-зелёным огурчиком. Конечно, его захотелось немедленно съесть. Предстояло получить вердикт высшего судьи – матушки. Вердикт был категоричен: не трогать, потому как соседский.

– Какой-же он соседский, если на нашем огороде? – удивился мальчишка.

– Плеть на нашем, а корни – на соседском. Значит, чужой.

И пошёл юнец к соседу, потребовав убрать огурец, дабы не искушал.

Это не байка, рассказанная в весёлой компании на пикнике. Это цепляющая за душу маленькая бытовая сценка, которыми щедро начал активный автор вашего журнала Алексей Манаев книгу «Лики судьбы», вышедшую в конце минувшего года в ярославском издательстве «Канцлер».

В ней представлены портреты видных соотечественников, тесно связанных с малой родиной литератора – Белгородчиной. Одни здесь родились, отсюда родом деды и прадеды других, а третьи приехали к региону – по любви. С этой точки зрения книга вряд ли оригинальна. Наверное, не стоило бы её подробно анализировать, если бы не несколько существенных обстоятельств. Многие литераторы, рассказывая о земляках и бравирюя звонкими именами, стремятся подчеркнуть уникальность, а порой и исключительность родной стороны, где едва ли не стаями поднимаются на крыло знаменитости.

Не лишён добрых чувств к отчужденному дому и Алексей Манаев. Но эта гордость не довлеет над материалом, а растворена в нём вроде влаги в пашне. Живая вода! Рассказывая о земляках, он стремится не к тому, чтобы «провозгласить здравицу» в честь малой родины, а прежде всего здравицу в честь земли «с названием кратким «Русь», где что Белгородская, что Воронежская, что Саратовская области – бриллианты одного ожерелья.

Очень импонирует и вторая особенность книги – она написана в пику нашим нравственным святотатцам, которые бравирюют странной с точки зрения здравого смысла доблестью – доблестью видеть в Отечестве обитель Дракул. В интернете, в средствах массовой информации вы без труда натолкнётесь на их «откровения» одно хлеще другого.

К чести автора, он не затевает спор с этой публикой. У него другие представления об Отечестве. Они сформированы не фантазиями, а опираются на реальных людей – на дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Анатолия Филипченко, прима-балерину Большого театра, народную артистку СССР, лауреата Государственной премии СССР Людмилу Семеняку, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Николая Сличенко, одного из создателей знаменитого «Бурана» – лауреата Государственной премии СССР Юрия Русиневича, народного артиста России оперного певца Анатолия Лошака, профессора Московской консерватории и других видных героев книги.

Они не дети Арбата, не особы, изнеженные в помпезных дворцах многочисленными мамками и няньками, а рабоче-крестьянской закваски люди. Их авторитет признан в мире. Они поднялись на высоты широкого общественного признания, конечно, благодаря таланту. Но талант

этот получил огранку на стремнине жизни, в таком её нравственном горниле, где поползновение мальчика даже на огурец, который оказался на выползшей с соседнего огорода плети, является святотатством.

Подчёркивая эту особенность издания, не удержусь, чтобы не рассказать, как попал на фронт видный организатор сельскохозяйственного производства Дмитрий Гончаров, уроженец села Архангельского Белгородчины. В начале 1943 года, едва село освободили от фашистов, вместе с двумя друзьями пошёл в райвоенкомат, чтобы влиться в ряды действующей армии. Военком пыл охладил и раз, и другой, и третий: на фронте детям делать нечего. Только в четвёртый раз с большой неохотой дал адрес призывного пункта в Воро-
неже.

До города километров 120. Зима. Полураздетые, в обувках из лыка, добирались до Воронежа пешком. Ночевали где придётся. Ели что придётся. Однажды встретили женщину. Та узнала, куда направляются, перекрестила и сказала: «Ранят или убьют, падайте, сынки, вперёд, на запад. Может, тогда и до Гитлера наши быстрее доберутся».

«Дети сейчас зачитываются приключениями Гекльберри Финна и Тома Сойера. Телеэкран забит ужасными о бандитских разборках. Будь моя воля, снял бы фильм о том, как мы, пацаны, в жуткие морозы полуголые прошагали более сотни километров, чтобы заслонить страну от бомб и пуль», — делится наболевшим трижды раненный инвалид Великой Отечественной войны Дмитрий Гончаров, удостоенный многих боевых и трудовых наград.

Литератор и тут сдержан и последователен. Доверительный разговор с читателем он ведёт не с помощью крикливых, набивших оскомину лозунгов, а опять-таки опираясь на его величество факт. Вернёмся к Дмитрию Гончарову. Решили его, фронтовика, только-только получившего диплом агронома, выдвинуть председателем колхоза, который лежал на боку. «Идёт собрание. Начались дебаты. Общее мнение: не гожусь в председатели, потому что «чужак». Наконец, слышу женский голос: надо бы на кандидата посмотреть. Встал. Тот же женский голос: «А он, бабоньки, ничего. Мордатенький, откармливать не надо, воровать не будет. Нам повезло — 21-го председателя избираем. Очко выпало. Будем избирать!» Избрали.

А дальше было вот что. После пяти лет работы в хозяйстве возникла идея направить Дмитрия Константиновича на укрепление колхоза родного села, который совсем зачах. Люди — против. Две недели шло общее собрание. Обращаю внимание: 14

дней! Еле-еле нашли консенсус. Читаешь и невольно думаешь: найти бы сейчас коллектив, где торжество демократии проявляется так полно и так ярко, как на тех «совковых» собраниях.

Мне по душе стремление литератора не представлять при этом читателям лаковые миниатюры, не «припудривать» невесёлые картины, не поддурманивать их. Он предпочитает, повторю, реальные факты, не разбавляя их никакими оговорками. Картины проходят перед нами одна хлеще другой. Вспоминает Иван Демьянов, видный организатор алмазодобывающей промышленности, который прошёл путь от шофера до вице-президента «Алроса» — крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире компании по добыче и переработке алмазов. «Однажды мы с младшим братом Василием остались дома одни. Животы пустые. Принялись искать съестное. Нигде не обнаружили ни крошки. Обратили внимание на крюк, вбитый в потолок, на котором когда-то висела наша люлька. Видим, к крюку приторочен небольшой мешочек. Мы мешочек, естественно, достали. Там оказалось с полкилограмма гречневой муки. Она в горло не лезла, поэтому запивали водой. Вскоре у обоих вздуло животы. Как нас лечили, не помню. Но вот как причитала над нами бабушка, в памяти отложилось крепко.

— Детки мои, что ж вы над собой утворили, — всхлипывала она, вытирая глаза кончиком платка. — Я бы вас этой мукой месяц кормила, а вы съели её за один присест и умрёте на моих глазах». Это о послевоенном деревенском детстве в селе Иловка на Белгородчине.

А вот эти картинки о работе на алмазном руднике в городе Мирном, куда привели паруса романтики в 1964 году — сразу после службы в армии. «Первое время пришлось доказывать делом, что мне можно доверить большегрузную машину. Доказал. И потекли рабочие будни. Трудились по 12 часов в смену в самых жёстких, если не сказать — жестоких условиях... Спустишься в карьер, а там холод такой, что машинное масло замерзает. Загазованность — хоть топор вешай. К нам, конечно, поступала новая техника — 25-тонные машины МАЗ-525, потом БелАЗы. Но условий для водителей в них тоже не было предусмотрено никаких. В кабинах приходилось устанавливать нечто подобное буржуйке, которую топили дровами. Буржуйка и согревала.

Вести гружёный самосвал по карьерному серпантину в условиях Севера, может быть, даже посложнее, чем артисту цирка идти по натянутому канату. А шоферил я не год-два — годы...

Хочу заметить, что женился до армии. У нас появилась дочка. Но в Мирном три с половиной года жил без семьи – её некуда было везти. А привёз благодаря ребятам, которые уступили одну из засыпух. К слову сказать, благоустроенную квартиру семье, в которой родилась вторая дочка, пришлось ждать 11 лет. Ютились где придётся...

Мирный, с населением в 35 тысяч человек, начинался с палаток и так называемых засыпух: из досок сооружали каркас, наполняя его землёй. Отапливали засыпухи дровами. Если стены к утру до потолка промерзали – значит, на улице мороз за 50 градусов, если иней чуть пониже, – значит, на улице «тепло» – 45–46 градусов мороза. Продовольственное снабжение было неважным. Из-за плохого питания беременные перехаживали сроки по две-три с половиной недели...

Рассказывая о героях, автор не чурается очерковых форм, новеллистики, но чаще всего оправданно прибегает к интервью-портретам. Может быть, желание «защепиться» в них за факты, за масштабные проблемы порой отодвигает во второй план диалоговые тонкости, какие-то личностные характеристики персонажей. Зато всё, о чём повествуется, не подлежит сомнению, ибо получено из первых уст.

Из воспоминаний народного артиста СССР Николая Сличенко. «Когда работал в колхозе, а основу его составляли цыгане, участвовал в художественной самодеятельности. Наверное, получалось. Потому что нередко слышал от окружающих: «В «Ромэн» тебе, парень, в «Ромэн!». Человека, привыкшего сверять личные планы с жизнью, такая похвала вряд ли бы вдохновила. Какой может быть «Ромэн» для шестнадцатилетнего подростка с большими пробелами в образовании и абсолютным безденежьем? А меня вдохновила.

Вдохновило доброе отношение окружающих к моей персоне. Колхозники «Красного Октября» поскребли по сусекам, собрали зерно, которое выдавали тогда на так называемые трудодни, продали его и на вырученные средства купили билет в один конец. «Держай, парень!» Так я оказался в Москве».

Вспоминает генерал-полковник Илья Панин. Супруги Панины вырастили шестерых детей. «Детство младшего брата, Александра, который родился в год образования области, приходилось на более-менее обеспеченное время, но и он пользовался тем, что уже было в употреблении.

Как-то осенью матушка послала его на чердак, где хранилась обувь, отслужившая страшим братьям, чтобы нашёл замену сапогу, который окончательно развалил-

ся. Замену найти не удалось. Тогда матушка полезла на чердак сама и вернулась с сапогом. Попросила примерить.

– Мам, так он же не на ту ногу!

– Да кто в грязи заметит, сынок. Зато тёплушко и чистушко! – был ответ...». Ко времени будет сказано, что глава семьи, инвалид войны, был в ранге председателя местного колхоза. Первый человек на селе! Но жили как все, если не хуже.

У заслуженного создателя космической техники металлурга Юрия Русиновича свои зарубки на память. Семью в начале войны из Старого Оскола эвакуировали в Орск. Там глава семьи Иван Русинович, геолог, будущий лауреат Ленинской премии, оказался нужнее, чем на фронте: стране позарез нужен был марганец. Старший Русинович мотался по объектам, месяцами не видясь с детьми. Голодали. Мёрзли. Ходили в рубище. Не однажды ситуация складывалась так, что казалось – не выжить...

А теперь процитирую Юрия Русиновича: «Орск тех лет был примечателен тем, что состоял в основном из саманных домов. В одном из них квартировали и мы. Зима 1941–1942 годов выдалась снежной. Весной во время паводка Магнитогорское водохранилище, расположенное выше Орска по реке Урал, переполнилось. Чтобы не прорвало плотину, воду спустили. Случился ледяной затор, и река пошла на город, затопля всё на своём пути. Мама утюгом разбила печную трубу, и мы через дымоход поднялись на чердак. Нас четверо и хозяйка с детьми. За компанию взяли собаку и телёнка. Потом вся эта когорта переместилась на крышу. Людей, конечно, спасали. Но весь ужас в том, что лодок было недостаточно, чтобы быстро снять пострадавших с домов, а они, саманные, размокали и уходили под воду. Вместе с ними – и люди.

Меня со старшей сестрой смогли снять на фанерную лодку (одно название чего стоит – «душегубка») и отвезли в центр города, на высокую гору с колокольней. Мама же с сестрой провела на крыше больше недели. Их спасло то, что крыша опиралась не на саман, а на высокие столбы, обнесённые плетнём, который был обложен саманом. Мама взяла с собой только папку с фотографиями. Спустя неделю, когда вода перестала прибывать, её с сестрой сняли с крыши и привезли в казармы военного городка. Мама в течение двух недель сидела на полу в уголке и приходила в себя, ежедневно рассматривая фотографии. Окружающие думали, что она сошла с ума...».

Читаешь эти истории и начинаешь думать, что литератора иной раз подводит

чувство меры. Слишком натуралистично. А ещё, представляя в «концентрированном виде» негатив минувших лет, он тем самым даёт карты в руки тем, кто смотрит на прошлое с презрительным высокомерием. Но автор и не думает угождать — ни либералам, ни их противникам, ни напомаженной знати. Он не подкидывает нам, куражась, некий ребус: было или не было, хотя некоторые картины в своей непридуманной жестокости таковы, что в них не хочется верить. Он показывает: было, и никуда от этого не деться.

Но, в отличие от некоторых нравственных недорослей, он видит причину не в том, что у нас руки-крюки, не в том, что мы потомки людей с «рабской психологией», а в том, что дорого расплачивались именно за приверженность свободе, социальной справедливости. Одно фашистское нашествие чего стоит. Преодолевать последствия этого нашествия, терпеть нечеловеческие лишения пришлось и старому, и малому. Преодолели! В считанные годы преодолели!

В этом контексте остановлюсь ещё на одной особенностях книги Алексея Манаева. Каждый материал он komponует своеобразно. На первом плане, конечно, герой, а на его фоне приглушённо, но тоже весьма выпукло — земляки, односельчане, коллеги. Они оттеняют достоинства героя и дополняют его, достаточно энергично вмешиваясь в повествование.

Обращу ваше внимание на новеллу «От Стригунов до Ла Скала» о народном артисте России оперном певце Анатолии Лошаке. Думаю, читатель простит длинную, но очень важную для понимания стиля литератора цитату. Во время командировки автора, тогда корреспондента областной газеты, в село Стригуны местный председатель старался показать, что сельский достаток от доброй работы земляков. Днём помотавшись по фермам, в полночь решили завернуть к буртам сахарной свёклы, которую грузили в машины и отправляли на завод.

Объяснил:

— Решили сегодня на этом каверзном деле поставить точку. Серьёзное ненастье нагрянет — до весны не вывезем, и урожаю амба. А свёкла — культура партийная. То есть если что — партийный билет выложись.

Дождило. Машина с большим трудом преодолевала октябрьскую слякоть. «Наконец вдали показался мерцающий огонёк. Подъезжаем. У свекловичного бурта, рядом с погрузчиком, горит зыбкий костерок, вокруг которого в ожидании машин сгрудились люди. В основном — женщины, в таком количестве одежек, прикрытых

плащами, что трудно определить, сколько дамам, хозяевам «сладкой жизни», лет. Протянув руки ладонями к костерку, они... пели. Запевал средних лет мужчина в телогрейке, на которую был накинута синий промасленный халат. Голос задорный, неподдельной искренностью вызывающий доверие, выводил по-украински:

«Місяць на небі, зіроньки сяють / Тихо по морю човен пливе. / В човні дівчина пісню співає / А козак чує — серденько мре».

Дамская часть тут же подхватывала *«В човні дівчина пісню співає, / А козак чує — серденько мре».*

И была в этой картине какая-то запретная фантазмагоричность.

Ещё раз представьте себе. Глухая осенняя ночь. Дождит. На огромном, укутанном вязкой темнотой поле затерялся маленький костерок, вокруг которого собрались уставшие люди, поднимающая тонус песней.

У костра мы долго не задержались. Председатель пообещал каждого, кто завершает свекловичную страду, наградить и с каждым лично выпить по чарке горилки.

— Сопьёшься, Палыч, — шутили женщины.

— Да я и сейчас пьян. От любви, чертовки, — полушутя-полусерьёзно сказал председатель, зная, что такой «свойский», неначальственный тон самый уместный в осеннем ночном поле.

Возвращались в село веселее.

— Знаешь, кто запевала? — спросил мой опекун, отчаянно крутя руль барахтающегося на полевой дороге «козлика». — Не знаешь? Выговор тебе, корреспондент. Таких людей знать в лицо надо. Как маршалов. Это лучший механизатор колхоза. Сеять лук поручаю только ему. Борозду проведёт — что твоя струна. И лучший запевала района. А может, и области. Участник войны. Орден Красной Звезды в кавалерии заслужил. Александр Иванович Лошаком зовут. У него и брат поёт. И сын в опере в Москве поёт. Бывает, сойдутся вместе... О! Здравствуй, душа, мы давно не виделись...

Так я впервые услышал об оперном певце Анатолии Александровиче Лошаке.

Впечатления от поездки спустя несколько десятилетий воплотились в новеллу, в которой ночной костёр стал символом и таланта певца, и таланта сельских жителей. Получается «картинка в картинке», сопровождающая и эту, и другие новеллы. Тем самым Алексей Манаев показывает: да, у нас были и есть герои, были и есть подлинны таланты. Подлинны потому, что вышли из народа и опираются на народ. Книга в целом становится мас-

штабным полотном жизни целых поколений людей, жаждущих подвига и осознанно стремящихся к нему.

Сейчас у нас тоже непростые времена. Но в отличие от прошлого мы, увы, создали их, главным образом, сами, поверив, что в течение 500 дней каждому будут предоставлены райские кущи. Во-вторых, тогда общество преодолевало невзгоды всем миром. Получалось. Сегодня этот мир разобщён. Каждый строит своё счастье, свой рай у себя за забором – кто на шикарных виллах, кто на фазендах, а кто в унижающих человеческое достоинство лачугах. Может быть, поэтому наши успехи очень скромны?

Одни герои книги видят большие «прорехи» в экономике, другие – в культуре, третьи – в системе воспитания подрастающего поколения. И практически все обеспокоены тем, что социальные лифты, ранее поднимавшие огромное количество соотечественников с самых «низов» до самых «верхов», явно скучают. Да, «в люди» постепенно выбивается молодое поколение. Мы восхищаемся талантом скульптора Андрея Коробцова, который стал известен благодаря сооружённому по его проекту Мемориалу советскому солдату подо Ржевом. Мировой спорт трудно представить без достижений двукратной чемпионки Олимпийских игр по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной, неоднократно чемпиона мира в смешанных единоборствах, «последнего императора» Фёдора Емельяненко. Но бесспорно и то, что эти самые социальные лифты явно не загружены на полную мощность.

А герои книги и в постсоветские времена достойно служат Отечеству. Только благодаря неуёмности, энергичности адмирала Игоря Касатонова, в 1991–1992 годах командовавшего Черноморским флотом, Украине не удалось присвоить эту важную со всех точек зрения военную струк-

туру. Если бы события развивались так, как хотелось руководству Незалежной, Крым не смог бы в столь непродолжительный срок причалить к российским берегам.

Из проблем, которые возникли в период демонтажа СССР, самой острой была проблема обеспечения ядерной безопасности в соединениях РВСН, дислоцировавшихся на Украине. Украинское руководство требовало разделить на переходный период управление войсками на оперативное и административное. Оперативное управление сохранялось бы за Россией, административное – за Украиной.

С большим трудом участникам переговорного процесса с российской стороны, в числе которых был и генерал-полковник Илья Панин, удалось убедить партнёров не использовать ядерное оружие в качестве инструмента для жонглирования на потеху публике – заокеанских «друзей». Представьте, что было бы сейчас, когда руководство Незалежной видит в России исчадие ада? Представьте, что могло произойти, если бы начальник ГРУ Генштаба Вооружённых Сил России генерал-полковник Фёдор Ладыгин не «восстал» против предложения угодников Запада в одностороннем порядке отказаться от тяжёлых бомбардировщиков. Где бы были сейчас наши «белые лебеди» Ту-160, которыми гордится страна и которые являются одной из составляющих стратегических ядерных сил?

Жаль, что персонажи книги уходят от нас. И это тоже подчёркивает актуальность издания. Где ещё расскажут о выдающихся соотечественниках? Радио, телевидение, другие средства массовой информации «охотятся» за разного рода бесноватыми личностями, «знаменитыми» лишь тем, что прибывают на венчание в катафалке. Очень хотелось бы, чтобы в облике России молодой всё отчётливее проступали лица наших видных соотечественников. В том числе – героев книги «Лики судьбы».



Елена
САПОГОВА

«ДЕТСТВО, ДЕТСТВО – РАДОСТЕЙ ИСТОКИ...»

*Земледельцы и доднесь между нами рабы;
мы в них не познаём сограждан нам равных,
забыли в них человека.*

А. Н. Радищев

...И какое бы детство ни было, вспоминаешь его с трепетом, сколько бы ни прошло лет. У каждого человека оно неповторимое, своё, ни на чьё не похожее.

Как признавался Владимир Личутин, «в один прекрасный день вдруг открывается нам, что красота мира вошла в нас в те далёкие нищие годы, когда душа, заплутавшаяся в голодной утробе, была вроде слепа и не развита, а ум весь занят поисками пропитания...» Писатель прав. У меня было так же.

Думаю, детство определяет всю нашу дальнейшую жизнь. У народной певицы А. П. Литвиненко есть глубоко меня трогаящие строчки стихотворения:

*Из прекрасного далёка
Слышу я напев старинный.
В нём и грусть, и откровенье,
И простой рассказ былинный.*

*Пела матушка, вздыхая,
Колыбель мою качая,
Наполняя душу песней,
Поднимая в поднебесье...*

-
- Елена Андреевна Сапогова родилась в 1942 году в с. Бряндино Малокамалинского района Куйбышевской области (ныне Самарская область). В 1972 году окончила СГК им. Л. В. Собинова, отделение хормейстера народного хора. С 1972 по 2001 гг. работала солисткой в Свердловской государственной филармонии. В 1982 году получила звание «Народный артист России». Заслуженный деятель искусств РФ. В 1997 г. была удостоена звания «Глас Ангельский России» (Москва). Лауреат премии «Золотой Аполлон» (Музыкальное общество им. П. И. Чайковского, Москва), премии Губернатора Свердловской области за концертную программу «Песнь Земли Русской» (Екатеринбург). Академик Академии искусств и художественных ремёсел им. Демидовых (Екатеринбург). Профессор Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова.

*Кто тогда мне напрофочил
С песней жизнь мою связать?
То ли матушка родная,
То ли божья благодать...*

1942-й – год моего рождения. Шла война... Уходили пахари на фронт. Как поётся, «стало некому работать во широком полюшке».

Сколько же их не вернулось из этого ада! И вся тяжесть крестьянского труда легла на плечи женщин и детей. Читаю стихотворение М. Исаковского «Русской женщине», и слёзы душат. Я хорошо помню, просто вижу этих великих тружениц молодыми, оставшимися вдовами – тётя Нюра, тётя Поля, тётя Огня, тётя Феня, тётя Маня, тётя Оля...

«...Да разве об этом расскажешь, / В какие ты годы жила! / Какая безмерная тяжесть / На женские плечи легла!..»

Мы, дети войны, ещё плохо понимающие, что происходит, как могли старались помочь по дому: выгонять и пригонять из стада коров и овец, были рядом со взрослыми во время страды на току. И опять беру в помощники Владимира Личутина. Наши воспоминания во многом совпадают: «Сенокосы, спелый запах сена, общность потных лиц и тел за длинным щербатым столом, когда дружно тянутся деревянные ложки к общей оловянной миске, и тогда нет ничего вкуснее в мире бригадного супа...» Домой возвращались, когда уже темнело. Уставшие, полусонные, но умиротворённые своей причастностью к чему-то нужному, пристраивались мы к возкам, ощущая дурманящий запах сена.

Вижу себя маленькой, худенькой, загоревшей до черноты, в ситцевом выгоревшем платьишке непонятно какого цвета и рисунка. Всё лето мы бегали босые.

Мама, Сапогова Ольга Леонтьевна, глядя на меня, говорила: «Одни зенки (глаза) остались».

К осени на ногах от грязи у всех детей были страшные цыпки (язвочки). Моя мама на ночь обильно смазывала их маслом, но всё равно они ещё долго не заживали.

Осенью своя страда – уборка овощей: картофеля, свёклы, моркови. Капусту солили кадушками. Если был грибной год, и грибы солили. И вот зимой ели эти грибочки с горячей рассыпчатой картошкой. Ах, как вкусно!

Тыква ярко-оранжевого цвета росла у нас на картофельном поле, выросла до огромных размеров. Мы, дети, не могли её обхватить руками. Мама парила её в чугушке в русской печке, ломтиками. Ешь, а она во рту тает, такая сладкая! Парили также белую сахарную свёклу. Зимой мама делала кулагу. Мало кто теперь знает, что это такое. Это пророщенная рожь, высушенная и смолотая. Заводилась она на особой закваске. Какое-то время кулага настаивалась. И вот мама ставила на стол глиняный горшок с кулагой, большим половником наливала в блюдо, и вся семья деревянными ложками хлебала эту кулажку. Была она коричневого цвета, густая, как сметана, вкусно пахла хлебом и была сладкая-сладкая...

А ещё помню, зимой тятя делал ядрёное хлебо. На мелкой тёрке натирал хрен, мял варёную картошку и заливал всё это квасом. Делалось это блюдо чаще всего в Великий пост. Мама так говорила о пользе этой еды: «Полезно, что в рот полезло!»

Труд в деревне тогда оценивался трудоднями. Работает бедная женщина целый день в поле, а за это ей поставят палочку-трудодень. Осенью на трудодни давали зерно, а летом иногда понемногу мёда. Мне памятно, как

мы с мамой, прихватив медный бидончик, шли к амбару, где стояли фляги с мёдом. Было много народу. Колхозный пчеловод по списку наливал мёд. До сих пор вижу эту янтарно-прозрачную струйку. Дома мама нарезала хлеб, наливала мёд в красивую деревянную чашку, и мы макали в неё хлеб, облизываясь, как кошки.

Изба наша была небольшая. Пять маленьких окон со строчёными занавесочками, длинная скамья-лавка вдоль стены, большой стол, за который садилась вся семья; красный угол с иконами.

Перед большой печью – чуланчик. Там вся кухонная утварь. В углу – чугушки, ухваты, кочерга. Была в доме и маленькая печка, которую топили зимой в большие холода.

Пол в избе был настелен из широких деревянных досок, строганных и некрашенных. По субботам мы их драили косырём – так у нас назывался большой толстый нож, которым скоблили половицы. Потом поливали пол водой и отмывали его тряпкой. После этого пол был жёлтым, гладким, чистым. И так приятно было по нему ходить босиком!

Красулька. Корова в деревне во время войны – это великая труженица и кормилица. Хотя нечасто перепадало нам молока. Иногда, когда мама доила Красульку, мы с кошкой сидели на крылечке и ждали, когда мама подоит, процедит и налёт в кружку пенного, душистого парного молочка, от которого исходило тепло коровы, улавливался запах полевых трав. Наливала мама молока и кошке в блюдечко, та лакала, щурилась, мурлыкала, облизывая язычком свою мордочку. А я пила маленькими глоточками, чтобы продлить удовольствие.

Красулька наша была самой красивой коровой в деревенском стаде. Большая, красной масти, с белой звёздочкой на лбу, с крупными рогами и огромными грустными карими глазами, с шершавым тёплым языком и мягкими губами.

Редко удавалось припрятать кусочек хлеба и тайком угостить Красульку. Она, глубоко вздохнув, осторожно брала кусочек, нежно лизнув мою руку. Было ощущение, что она понимает, как трудно всем живётся, и жалеет нас.

Весной надо было пахать огород, тогда Красульку запрягали вместо лошади. Есть выражение, когда человеку что-то не подходит: идёт тебе, как корове седло. Это действительно противоестественно – запряжённая корова. Смотреть на это было больно.

Обречённо косилась на нас Красулька, не понимая, зачем это с ней делают.

А иногда, жалея коров, бабы сами впрягались в плуг..

Во время страды мама приходила с поля еле живая. Падала как подкошенная прямо на пол, на половички. Жали-то вручную, серпами. За целый день, да по жаре, уставали до смерти!

*В полном разгаре страды деревенская...
Доля ты! – русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.*

Мама рассказывала, что как-то в конце дня возвращались бабы с поля, а тётка Степанида от усталости заснула прямо на ходу и упала. Уж было смеху-то! Но это смех сквозь слёзы.

Баня. В конце огорода была у нас баня, которая топилась по-чёрному. Трубы не было, и дым выходил через дверь. Стена и потолок были в чёрной

копоти, если заденешь – опять будешь грязным. Мыла не было, мама делала щёлок из золы. Был он очень едучим, и если попадал в глаза, то сильно их обжигал. Мыться в такой бане было мученье, особенно когда мама мыла тебе голову. Чтобы я не трепыхалась, зажимала она моё худенькое тельце между ног и, не обращая внимания на мои возмущённые крики, мыла меня.

Щёлоком тогда и стирали.

Часто тогда в белье и волосах появлялись вши и гниды. Боролись с ними сурово: одежду пропаривали в жарко натопленной печи. Швы проглаживали утюгом, который грелся на горячих углях. А сколько их было на голове, в волосах! Говорили, что это не только от отсутствия мыла, но и от постоянной тревоги и переживаний за близких.

Перед домом на лужайке или на току во время перерыва женщины заставляли нас, детей, «искать» в голове насекомых. Частым гребешком мы вычёсывали их. До сих пор с содроганием слышу этот щёлкающий звук.

Детей в школу не пускали, пока не проверят в головах. Обсыпали порошком ужасно пахнущего дуста. А иногда и просто стригли наголо.

Зато после бани дома стоял ведёрный самовар, в котором в холщовом полотенце варились яички, отдавала аромат заваренная травка, и в блюдечке поблёскивал мелко наколотый комковой сахар. С одним стаканом – один маленький кусочек. Сахара всегда хотелось, и поэтому я как-то выпила целых десять стаканов чая, и мне стало плохо. Когда окружающие засмеялись надо мной – заплакала от обиды. Потом большие куски сахара снова убирали в мешочек и, как бы от мышей, привешивали на крюк, где когда-то крепилась зыбка.

У меня был друг Шурка Бочкарёв – высокий-высокий. Как-то, когда дома никого не было, я попросила его достать мешочек, мы вытащили один кусок сахара и снова повесили. Никто не обнаружил пропажу. Маленькая, всегда думала: вот вырасту большая, куплю много-много сахара и наемся досыта. Призналась маме в похищении сахара, уже будучи взрослой.

Кино. Не помню, в каком году привезли первый раз в деревню чёрно-белый фильм «Сталинградская битва». Несколько больших бобин на каждую часть фильма. В заброшенной избе смастерили лавки – доски на чурбачках. Побелённая стена служила экраном. После каждой части долго заряжали дру-гую. Фильм длился несколько часов, но никто не уходил до конца. Мы, хоть и дети, понимали ужас войны, когда гибли тысячи и тысячи в этой битве.

Сейчас, когда пою «Есть на Волге утёс», снова проживаю те страшные впечатления от фильма. Снова сжимается от боли сердце, душат слёзы...

*...Он бронёю оброс,
Что из нашей отваги куётся.
В мире нет никого, кто не знал бы его,
Он у нас Сталинградом зовётся!*

*Об утёс броневой
Бьётся лютый прибой,
Вьётся ворогов чёрная стая.
Но стоит он стеной
Над равниной степной,
Ни сомненья, ни страха не зная.*

*Там снаряды гремят,
Там пожары дымят,
Волга-матушка вся потемнела.
Но стоит Сталинград, и герои стоят
За великое правое дело!*

*Сколько лет ни пройдёт,
Не забудет народ,
Как на Волге мы кровь проливали,
Как десятки ночей не смыкали очей,
Но врагу Сталинград не отдали.*

*Эх ты, Волга-река, широка, глубока –
Ты видала сражений немало,
Но такой лютый бой ты, родная, впервые
На своих берегах увидала.*

*Мы к победе придём, мы врага разобьём,
Солнце празднично нам улыбнётся.
Мы на празднике том об утёсе споем,
Что стальным Сталинградом зовётся.*

*Мы на празднике том об утёсе споем,
Что стальным Сталинградом зовётся.*

Троица. На праздник Троицы – а это самый расцвет лета – молодёжь шла с утра за 4 км от села в лес и приносила охапки цветов, душистое разнотравье, ветки берёзы и украшала этими дарами природы избы. На столе, на подоконниках стояли в баночках душистая кашка, гвоздички, любимые незабудки. И пели, пели: «Скоро, скоро Троица! Земля травой покроется» или «Александровская берёза, берёза...»

На улице ставили качели, на которых качались и дети, и взрослые. Ходили на ходулях.

Травы собирали силу, мы их собирали и сдавали в медпункт – тысячелистник, мяту, зверобой, ромашку. Помню, как на денежки, которые получила от сдачи трав, купила голубого в белый горошек ситцу и сшила себе летний сарафанчик. Понизу привязала кружавчики. Вязать от старших сестёр научилась очень рано. Пока свяжешь что-то, весь палец себе на левой руке крючком до крови расковыряешь. Зато научилась на всю жизнь. Даже сценические костюмы себе вязала. И, знаете, до сих пор люблю ткань в горошек.

Были и другие «цветочки». Летом, когда в нашем безводном Заволжье стояла страшная жара, травы засыхали, а скотине нечего было есть, мы, дети, всеми правдами и неправдами, где косой, где серпом, добывали любую траву – крапиву, лебеду. Или в кукурузном поле рвали лягушатник, повилыку. Завязывали охапку травы верёвкой и тащили домой.

Бывало, от школы на лошадях со взрослыми ехали в лес, срубали большую липу, обламывали ветки и вязали веники для животных. Запасали на зиму.

...За железной загородкой нашего городского большого дома каждое лето буйно расцветают и цветут до глубокой осени изумительной красоты мелкие фиолетовые цветы, то ли сентябринки, то ли октябринки. Для меня

это такая радость! Точно такие же в моём далёком детстве росли прямо в поле, на меже. Всякий раз, когда прохожу мимо них, разговариваю с ними, а они приветливо кивают головками. Это привет из детства.

В России нет ни одного цветочка, ни одной травинки, ни одного деревца и кусточка, не воспетых в народных песнях! «Цвели, цвели цветки, / Да появили...» И «Берёза белая...», «При долине куст калины...» и многие, многие другие.

А в августе в лесах поспевали орехи. Собирать их брали и нас, детей. Взрослые наклоняли ветки с ореховыми гроздьями, а мы обирали их. В каждой грозди, как в гнёздышке, сидело по 3–4 орешка. Собирали их в большие холщовые сумки. Приносили домой и вылущивали, освобождали от зелени светло-коричневые орешки. Дети их могли зубками разгрызть, но взрослые ругали нас, говорили, что изломаем свои молодые зубы и будем беззубые. Спелые орешки были полными, твёрдыми и необыкновенно вкусными. А ещё их подсушивали на русской печке. Она-то каждый день топилась. Сушёные орешки были ещё вкуснее. Хранили их до самой зимы. И вот по вечерам у многих изб на завалинке или на крылечке слышался стук молоточков, которыми кололи эти орехи.

А разве можно забыть пирожки с черёмухой?! Это тоже такая радость – поход за черёмухой. Большое дерево, усыпанное кисточками крупных, чёрных, блестящих ягод! Набирали по целому ведру. Рот был вязкий и чёрный от ягод, язык не ворочался во рту. Принесём домой, мама и пирожков настряпает, и на зиму засушит. Дома всегда в мешочке была сушёная черёмуха. Зимой толкли сушёные ягоды в железной ступке и пекли с ними пирожки. Отвар ягод пили при болях в животе.

Пожары. Летние пожары в нашем безводном крае были не редкость. Дома в деревне в основном были покрыты соломой. Поэтому во время пожара они вспыхивали как свечки.

Наш дом тоже сгорал несколько раз. Во время страды в деревне оставались старики и малые дети. С поля деревню видно. И вот кто-то закричал: «Пожар, пожар!»

Мама рассказывала, что глянула и поняла: наш дом горит! А там все маленькие. Бегу, говорит, а ноги подкашиваются. Падаю, встаю и снова бегу. Добежала, а нас уже успели вытащить из горящей избы. Потушить дом не было никакой возможности, но главное – нас спасли. Сгорело всё. Сгорела и главная семейная ценность – письма с фронта моего старшего брата Александра, Шуроньки.

От пожаров в деревне перед домами рыли подвалы типа землянок, и на лето все вещи выносили туда. Там было прохладно, там спасались и от жары. Крыша подвала была покатая и зарастала травой, а когда трава высыхала, то становилась скользкой. Мы брали донце, на котором зимой пряли пряжу, и катались с крыши, как с горки на санках.

В 1952 году у брата Серёжи, который после армии женился и остался жить в Казани, родился сын, и мама на несколько дней поехала посмотреть на первого внука, оставив меня за хозяйку.

Старшие сёстры, Валентина и Мария, тогда уже уехали работать в город. Брат Ваня, 1938 года рождения, работал на тракторе в поле. А мне, десятилетней, надо было печь затопить, хлеба состряпать, сварить что-то поесть для себя и для скотины. Как раз тогда корова наша только что отелилась маленьким хорошеньким телёночком, с белой звёздочкой на лбу. Его тоже

надо было обихаживать. Подоив, выгоняла Красульку в стадо. Доить я уже тогда умела, ловко перебирая соски маленькими кулачками.

И вот беда! Пока мамы не было, мой телёночек заболел. Лежал на полу в избе и жалобно, как-то по-человечьи стонал. Я гладила его, разговаривала с ним. А в это время, как нарочно, случилась сильная гроза. Грозы в наших местах были страшные. Когда начиналась гроза, я со страхом забиралась под стол, натянув на голову платишко. Молнии были огромные, круглые, как солнце, и в ночи их холодный яркий свет наводил на меня ужас. Рыдая, просила маму спрятать меня куда-нибудь. Были случаи, когда грозой даже убивало людей.

И вдруг в окне вспыхнуло красное зарево. Выглянув, увидела загоревшийся от молнии дом нашей соседки тёти Нюры Щеляновой. Со страха побежала на пожар, на который сбежалась вся деревня. Это было страшное зрелище. Когда вернулась домой, обнаружила, что телёночек сдох. Как же я рыдала с причетом. Плача, погрузила маленькое тельце на тележку и повезла под горку в овраг хоронить. Вскоре приехала мама.

Налоги. Крестьянские дворы облагались огромными налогами. Сдавали всё: масло, яйца, картошку, шерсть...

Нам, детям, досыта не давали даже молока. Яйца только по одному яичку в субботу после бани. Иногда куры неслись не во дворе, а за домом, в картошке. Эти яйца считались как бы ничейные, и мы с подружками собирали их и бежали в магазин, где продавщица за них нам взвешивала по горсточке конфет – маленьких, кругленьких, прозрачных, обсыпанных какао-порошком. Мы находили укромный уголок где-нибудь под амбаром и подолгу смаковали эти лакомства.

Налогом облагались даже плодовые деревья – яблони, груши. Платить налог было нечем, и потому всё вырубали. На всю деревню осталось несколько яблонь, куда мы, голодная детвора, лазали через забор, поогородничать. Ловили нас, пороли крапивой по голому месту. Иногда мы собирались группой и шли на станцию Бряндино, за 5 км от нашей деревни. Там стаканчиками за несколько копеек продавали мелкие яблочки с жёлто-красными бочками. У нас их называли ранетки.

Покупали по стаканчику и шли обратно.

Оттого что налоги были такие непосильные, народу приходилось как-то выживать. Весной, когда начинала пробиваться травка, мы, дети, выскивали что-нибудь съедобное. Первую крапивку рвали на суп.

Вот как о крапиве написал Владимир Личутин: «Крапива жжёт, она суётся в ноги... Помнится, в детстве крапива вызывала в нас лишь досаду... А она не таила обиды и с первым весенним лучом снова лезла из земли, пушилась, совалась на глаза. И понадобились годы, чтобы человек вырастал, седел, старился и вдруг узнавал в один прекрасный день, что пряно пахнущее, зазывное, огненно-жалеющее растение – наш верный целитель, дар матери-земли, её посланец. Оказалось, что все врачующие травы чаще всего неприметны, они ютятся возле нас от рождения до смерти...»

На пригорках всходили коричневые пестики полевого хвоща, молодые побеги лугового щавеля, за огородами появлялись зелёные дикарки (свербига). Молодые, они особенно вкусные. Нарвёшь пучочек, очистишь и хрумкаешь как кролик. Вкус напоминает редиску. А уж полезное!

Помню, где-то в 80-х годах была на гастролях в Нижнем Новгороде. Жила в гостинице «Нижегородская», которая стоит на высоком косогоре,

а внизу великая Волга сливается с Окой. Место красивейшее. Весь косогор зарос этой свербигой, дикаркой. Ходила туда, рвала, тут же ела, и ничего вкуснее не было на всём белом свете! Редкие прохожие с удивлением смотрели на «странную» женщину.

А летом после тёплого дождичка на луговине, за деревней, в невысокой траве появлялись совершенно очаровательные опята с маленькими розово-коричневыми шапочками. Росли они кружками, будто водили хороводы! Нарвёшь полный подол, а дома сварить супчик, добавив немного картошки и лука, забелишь молочком – и, как говорится, не жуй, не глотай, только брови поднимай!

А в лесу, который был от деревни за четыре километра, мы рвали охапки шкерды (скерды), которую тоже ели живком. Потом начинал созревать горох в поле. А мы уж тут как тут, как стайки воробьёв! Хоть нас и гонял объездчик на лошади, но всё равно нам удавалось набрать зелёных, ещё не до конца налившихся вкуснейших стручков.

В июле созревала луговая клубника. В наших краях много оврагов, заросших травой, там было великое множество этой сладкой, пахучей ягоды. Взрослые ходили далеко в лес за малиной. Так и выжили!

Дорога на железнодорожную станцию Бряндино памятна мне на всю жизнь. Этой дорогой провожали мужчин на фронт. Кто шёл пешком, кто ехал на подводе. Матери, жёны, невесты плакали. Кто-то играл на гармошке, кто-то пел:

*Ох, на станцию дороженька
Слезам улита,
А как по этой по дорожке
Проходили рекрута...
Полно, матушка родима,
Полно плакать обо мне,
Ведь не всех же, дорогая,
Убивают на войне...*

По этой дороге во время страды из разных деревень везли на элеватор зерно. Иногда поверх зерна в машину брали и нас, детей, помогать разгружать. А пока ехали до станции, «кричали» песни звонкими, сильными голосами. Простор полей придавал силу.

Иногда мы, дети, выходили на дорогу, которая была вся разбита, и, когда на очередном ухабе машину подбрасывало, сколько-то зерна высыпалось на пыльную дорогу. Мы с ведёрком, ситечком и гусиным крылышком тщательно очищали и собирали зерно. Домой приходили как шахтёры, белели одни зубы и белки глаз.

Кончилась война... Погиб под Старой Руссой мой старший брат Александр, 1923 года рождения. Шуронька, как звала его мама. Брат Серёжа, 1927 года рождения, оставался ещё в армии.

Как-то летом воинский эшелон, где был Серёжа, на несколько часов остановился на станции Бряндино, и Серёжу отпустили забежать домой. Всё было мгновенно. Помню только, как мы с мамой провожали брата. Был он в выгоревших добела гимнастёрке и пилотке.

*Дорожка моя приукатанная,
Чёрным бархатом приусланная.
Тут и шли-прошли рекрутики,
За рекрутиками – родная матушка.
Она идёт, идёт, запинаясь,
За сырую землю матушка хватается,
Ох, горючими слезами она заливается...*

Мама моя всю дорогу плакала, приговаривая: «Аба, сынок!» «Аба» у нас в деревне произносилось всякий раз с разными интонациями. Это мог быть восторг, горечь, осуждение, одобрение, жалость, удивление...

Этой же дорогой вели этапом мою старшую сестру Валентину, 1932 года рождения. После войны забирали из деревень молодёжь в ФЗО (фабрично-заводское обучение), а они убегали домой. За ними приезжали как за преступниками и сажали в тюрьму.

Во время войны наш отец – тятя – Сапогов Андрей Фёдорович, 1894 года рождения, и ещё несколько мужчин этого возраста из нашего села были мобилизованы на военный завод в Куйбышев.

А там своя была страда... Голод, холод...

Собирались женщины, подчищали дома всё до последней крошки и зимой, в лютые морозы, пешком на санках за 200 километров (!) везли эти крохи мужьям.

Вижу эту картину: безбрежное снежное поле, переметённая дорога, по которой идут впряжённые в санки женщины, повязанные до бровей платками. Сверху большая шерстяная шаль, крест-накрест, завязанная узлом сзади. 200 км за сутки не пройдёшь, где-то надо было проситься ночевать. Не всегда попадались сердобольные люди. Некоторые просили за ночёвку часть продуктов.

Вот уж точно: «Кому – война, а кому – мать родна».

Тятя разбился на лошади летом 1952 года. Долго болел, а зимой в январе умер. Вся деревня по крыши была тогда занесена снегом, чтобы пройти до кладбища, похоронной процессии вырывали в снегу траншеи. После похорон и поминок родственники разъехались-разошлись, и мы с мамой остались одни.

В избе жутко, пусто. Мама потихоньку начинала вопить, причитая, я ей подвывала тоненьким голоском.

В ту зиму за домом в снегу, помню, выкапывала я углубление, утыкала его внутри сухой травой – получался домик. Сидишь в нём, слушаешь вой метели, и кажется, что ты одна на всём белом свете. Опять и опять находились слова-причитания, чтобы выразить, как же нам трудно будет без тятеньки...

В 1957 году я окончила 7 классов нашей сельской школы, и мама сказала: «Везжай, доченька! Я всю жизнь свету белого не видела, может быть, ты найдёшь своё счастье...»

И отправилась 14-летняя девочка к сестре Валентине, которая с мужем уехала на Урал, на строительство сернокислотного завода. Помню, как шла с мамой по пыльной дороге на станцию. Когда я села в общий вагон поезда, смотрела в окошко на маму, которая стояла в белом платочке, концами которого утирала слёзы, провожая последнюю кровиночку...

Это была моя дорога из детства в другую, взрослую жизнь.



ПОБЕДА ЗАСЛУЖЕННАЯ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Писатели из Саратова стали лауреатами престижной литературной премии.

По традиции в Москве в канун Рождества были названы лауреаты конкурса издательского дома «Российский писатель» (список размещён на сайте Союза писателей России).

Из более тысячи текстов, опубликованных за 2021 год на сайте и в газете «Российский писатель», жюри конкурса выбрало победителей. Учитывались и комментарии читателей, и актуальность дискуссий, поднятых в том или ином материале.

Уровень, накал читательского и сугубо профессионального интереса, рождённого отмеченными статьями, хорошо виден по многочисленным комментариям на сайте «Российского писателя»:

Писатель и литературный критик Екатерина Пионт, Москва (о статье Н. Леваниной «Сергей Потехин – поэт, отшельник, инопланетянин»): *«Браво Потехину! Какой самородок, как переливаются его грани, ему даже солнца не надо, чтобы сиять всеми цветами радуги!.. Наталья Юрьевна! Своим очерком Вы удивительно точно попали в тон стихов Сергея лёгким слогом, глубиной написанного...»*

Писатель Маргарита Каранова, Пущино (о статье Н. Леваниной «Горящая головня, летящая по ветру»): *«Критик Наталья Леванина равновелик «критикуемому» автору В. Лапшину: такая же прозрачная, лаконичная мудрость, тепло, простота изложения. Стихи приведены исключительно удачно».*

Писатель и литературный критик Людмила Яцкевич, Вологда (о статье И. Васильцова «Высветлить человека...»): *«Иван Владимирович, как ценно, что вы напомнили всем нам: «Выбранные места...» не просто современны – скорбь их и свет их опережают само время...»*

Надежда Мирошниченко, поэт, публицист, литературный критик, Сыктывкар (о статье И. Васильцова «Высветлить человека...»): *«Спасибо вам за талант художника и мыслителя, за своевременное напоминание об одной из главных сокровищниц русской мысли! Получила истинное удовольствие и от позиции, и от прочтения ваших глубоких и ясных размышлений...»*

Итак, в номинации «Критика» победила Наталья Леванина (член СП России, лауреат Всероссийской премии им. М. Н. Алексеева, доктор филологических наук Н. Ю. Тяпугина) со статьями

о творчестве своих замечательных земляков – выдающихся русских писателей-галичан: «Сергей Потехин – поэт, отшельник, инопланетянин» <https://www.rospisatel.ru/tjatugina-levanina-potehin.html> и «Горящая головня, летящая по ветру»: О поэзии Виктора Лапшина <https://www.rospisatel.ru/tjatugina-levanina-lapshin.html>. Кстати, это уже вторая победа Наталии Юрьевны в ежегодном конкурсе «Росписателя» в номинации «Критика» <https://rospisatel.ru/lrp2019.html>. Первая была год назад за статью о творчестве В. М. Шукшина «Жизнь, длиною в песню» <https://www.rospisatel.ru/tjatugina-shukshin.html>.

Статья Ивана Пыrkова (Васильцова) «Высветлить человека. К 175-летию со времени создания «Выбранных мест из переписки с друзьями», посвящённая одной из самых глубоких книг Н. В. Гоголя, победила в номинации «Классика и мы». Главная мысль статьи – великая книга Гоголя нужна современности, и как преодолеть невнимание и равнодушие к золотому наследию русской литературы? Прочитать опубликованную статью, комментарии к ней, поделиться своим мнением можно по ссылке <https://www.rospisatel.ru/vasilzov-gogol.html>.

Лауреаты «Российского писателя» получают не денежное вознаграждение, но широкое общественное признание: о премии РП пишут сегодня многие российские информагентства и писательские сайты. Например, «Дом писателя» (Санкт-Петербург) <http://dompisatel.ru/?p=23817>.

Премии были удостоены известные современные авторы: Владимир Крупин (Москва), Николай Зиновьев (Краснодар), Борис Орлов (Санкт-Петербург).

КОНКУРС

В 2022 году редакция литературно-художественного журнала «Волга–XXI век» объявляет конкурс литературных произведений, посвящённых 350-летию императора Петра Первого и 300-летию посещения им поволжских городов, в том числе Саратова.

Цель конкурса – привлечение внимания авторов и читателей к истории Саратовского края.

К рассмотрению принимаются произведения исторического и краеведческого характера (не более 2 а.л.): статьи, исследования, очерки, художественная проза, тематически связанные с юбилейными событиями.

Сроки проведения конкурса – до 1 декабря 2022 года.

Итоги конкурса будут подведены в 6-м номере журнала (декабрь 2022 года).

Лучшие тексты будут опубликованы в журнале «Волга–XXI век» в 2022 году и в последующее время.



*Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник
Н. А. Некрасова «Карабиха»*

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – В. В. Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Е. С. Данилова.

Дизайн и вёрстка – Л. В. Баранова.

Корректор – Е. Н. Березина.

Художник – Е. Е. Литвинова.

Подписано в печать 22 февраля 2022 года.

Дата выхода в свет 28 февраля 2022 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/22022

Цена свободная.

Адрес издателя: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 72-10-06.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс: П4923

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж 100 экз.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2022.

© «Волга–XXI век», 2022.



Кселена Литвинова. «Первый снег», 2018 г., холст, масло



Кселена Литвинова. «Зеркало зимы», 2021 г., холст, масло



Памятник Н. А. Некрасову в Ярославле
(1958 год, скульптор Г. И. Мотовилов)

